

Харуки Мураками

Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий

Он был юн, об окружающей жизни знал еще очень мало. Да и новый токийский мир сильно отличался от среды, в которой он вырос. Мегалополис оказался куда огромней, чем он себе представлял. Слишком большой выбор того, чем можно заняться, слишком непривычно общаются друг с другом люди, слишком быстро несется жизнь. Из-за всего этого он никак не мог настроить баланс между собой и окружающими. Но главное ? в те годы ему еще было куда возвращаться. Садись на Токийском вокзале в «Синкансэн» ? и через каких-то полтора часа прибываешь в «нерушимый оплот гармонии и дружбы». Туда, где время течет неспешно и всегда ждут те, перед кем еще можно распахнуть душу.

О том, что это место бесследно исчезло, он узнал на втором курсе, во время летних каникул.

Харуки Мураками

Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий

SHIKISAI O MOTANAI TAZAKI TSUKURU TO, KARE NO JUNREI NO TOSHI

© Haruki Murakami, 2013

© Haruki Murakami, 2013

© Перевод на русский язык, Дмитрий Коваленин, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

1

На втором курсе вуза, начиная с июля, он постоянно думал о смерти. Тогда же ему исполнилось двадцать – он стал взрослым, хотя никакого особого смысла эта веха в его жизнь не привнесла. В те дни мысль покончить с собой казалась ему естественной и совершенно логичной. Что именно помешало ему наложить на себя руки, он толком не поймет до сих пор. Преступить черту, отделяющую жизнь от смерти, в то время было проще, чем выпить сырое яйцо на завтрак.

Возможно, покончить с собой он не пытался просто оттого, что его мысли о смерти были слишком естественны и не увязывались с какой-либо конкретной картинкой в голове. Напротив, любая конкретика представлялась ему второстепенной. Окажись перед ним дверь на тот свет, он наверняка распахнул бы ее не задумываясь. Просто совершил бы это обыденно. Но, к счастью или нет, такой двери ему не попало.

Наверно, лучше бы я умер в те дни, часто думал Цкуру Тадзаки. И нынешнего мира, каков он есть, просто бы не получилось. Было бы здорово. Ведь тогда не настало бы и никакого «теперь». Раз меня нет для этого мира, то и его не существует для меня.

И тем не менее Цкуру до сих пор не поймет, что именно подвело его тогда к смерти настолько вплотную. Пусть даже некие события и явились тому причиной, почему тяга к смерти вдруг стала такой навязчивой, что поглотила его без малого на полгода? Поглотила – да, именно так. Словно тот библейский пророк, прозябавший во чреве кита, Цкуру угодил Смерти в брюхо и невесть сколько суток провел в той живой пещере без единого лучика света.

В то странное время он жил, как сомнамбула – или как покойник, не заметивший собственной смерти. Солнце всходило – он просыпался, чистил зубы, напяливал что подвернется под руку, садился в электричку, ехал в университет, конспектировал лекции. Словно человек, уцепившийся за фонарный столб, чтобы только не унесло ураганом, он цеплялся за распорядок дня. Без особой надобности ни с кем не общался, а вернувшись в свою холостяцкую квартирку, садился на пол, прислонялся спиной к стене – и размышлял о минусах жизни и плюсах смерти. Бездонная мгла распахивала перед ним свой зев, и он проваливался в нее до самого центра Земли. Туда, где Великое Му[1 - Му (кит., яп.) – буддистская категория полного отрицания. Состояние Му – сознание, очищенное от идей внешнего мира. Чревато просветлением (сатори) и переходом в Нирвану. В практиках дзен-буддийских монахов часто трактуется как «забери свой вопрос назад». – Здесь и далее прим. переводчика.] закручивает мир в гигантское облако и глубинная тишина сдавливает барабанные перепонки.

Кроме смерти, он не думал вообще ни о чем. Это не так уж и сложно. Просто не читал газет, не слушал музыки и даже о сексе не вспоминал. Не видел ни в чем вокруг ни малейшего смысла. Устав от дома, выходил на улицу и бродил по окрестностям. Или садился на скамейку железнодорожной платформы и часами наблюдал, как отправляются поезда.

Каждое утро принимал душ, тщательно мыл волосы, дважды в неделю устраивал стирку. Чистота помогала ему держаться. Душ, стирка и чистка зубов. Питался он как попало. Обедал в университетской столовой – и больше нормальной еды почти не ел. Когда пустел желудок, покупал в супермаркете яблок, овощей и сгрызал их дома не задумываясь. Или жевал хлеб, запивая молоком из пакета. Перед сном наливал в стакан немного виски и принимал как снотворное. Пьянел он, к счастью, быстро и даже от маленькой порции тут же засыпал. Снов он тогда не видел. Те же сны, что изредка врываются к нему неведомо откуда, проносились вихрем в голове и ухали в пустоту, не удерживаясь на обрывистых склонах сознания.

Цкуру Тадзаки хорошо помнит, когда мысли о смерти начали притягивать его так сильно. Это случилось, когда четверо ближайших друзей заявили ему: «Больше ни видеть, ни слышать тебя не желаем». Пригвоздив его тем самым к жесткому факту. И ни словом не объяснив, что же заставило их такое сказать. Сам он спрашивать не стал.

Все они крепко дружили в старших классах, но потом Цкуру уехал из родного города учиться в столичном вузе. Так что теоретически исключение из дружной компании не принесло в его жизнь особенных неудобств. Встреть кого-то на улице, даже не смутился бы. Но это, увы, теоретически. На деле же после того, как он уехал от лучших друзей так далеко, боль его стала еще острее. Отчужденность и одиночество сплелись в телефонный кабель сотни километров длиной. И по этому кабелю, намотанному на огромную лебедку, днем и ночью к нему поступали неразборчивые сообщения. Звучали они то громче, то тише, иногда завывали, как буря в лесу, а иногда пропадали совсем.

Все пятеро попали в один класс старшей школы в пригороде Нагои. Три парня, две девчонки. Первым же летом[2 - Школьная система в Японии состоит из начальной, средней и старшей школ (6 лет, 3 и 3 года соответственно). Начальная и средняя школа – обязательные. Старшую школу, хотя она обязательной и не является, оканчивают около 94 % японских школьников. Учебный год начинается в апреле.] перезнакомились на волонтерской работе, и даже когда на следующий год их развели по разным классам, остались так же дружны. Волонтерство считалось их летней практикой, но работа закончилась, а они и дальше собирались вместе то и дело и помогали людям, не требуя вознаграждения.

По выходным они выезжали куда-нибудь на природу, играли в теннис, ездили купаться на полуостров Тита, а то заваливались к кому-нибудь домой и вместе готовились к экзаменам. Но чаще просто встречались где придется и болтали о жизни. Никаких тем заранее никто не выбирал, но разговор не иссякал никогда.

Сдружились они случайно. Дел для волонтеров хватало, в том числе – занятий после уроков с малышами в продленке. В школе при католической церкви их класс состоял из тридцати пяти человек, но такое занятие выбрали только они пятером. За три первых дня в летнем лагере они здорово подружились с детьми.

Там же, в лагере, когда позволяло время, все пятеро очень тесно общались – рассказывали о себе, учились слушать и понимать друг друга. Делились мечтами и тревогами. И уже к концу лета каждый понимал: «Сейчас я – в правильном месте и в правильной компании». Очень гармоничное чувство, когда тебе нужны остальные четверо, а остальным четверым нужен ты. Нечто вроде редкого и крайне удачного сплава химических элементов. Сколько потом ни бейся, пытаясь воссоздать, больше такого результата не получишь.

И даже когда лето закончилось, пару раз в месяц, ближе к концу недели, они так и ходили в школу к своим первоклашкам – готовили с ними уроки, занимались спортом, играли, читали вслух. А еще стригли школьные газоны, красили стены, обустроивали игровую площадку. Так и прожили следующие два года.

Возможно, в самой этой раскладке – трое ребят и две девчонки – изначально крылось какое-то напряжение. Скажем, начни любые двое парней приударять за девчонками, третий всегда окажется лишним. Сама мысль о такой возможности то и дело зависала мрачной грозовой тучей у каждого в голове. Но на самом деле ничего подобного не случилось, да и случиться вряд ли могло.

Все пятеро жили в пригородах, в семьях зажиточно-среднего класса[3 - Начиная с 1990-х гг. так называемый средний класс составляет около 80 % японского общества.]. Их отцы – из поколения беби-бума – служили

экспертами в солидных компаниях и на образование своих чад не скупилась. Все пять семей благополучны были хотя бы внешне, никто не в разводе, матери – домохозяйки. В старшие классы без экзаменов не перейти, так что успеваемость у каждого из пятерки была неплохая. В общем, все выросли примерно в одной среде и похожи друг на друга оказались больше, чем отличались.

А кроме того, всех, кроме Цкуру Тадзаки, объединяло еще одно случайное сходство. У каждого из его друзей фамилия происходила от какого-нибудь цвета. Парней звали Акама?цу и Оу?ми, девочек – Сиранэ? и Куро?но. И только фамилия Тадзаки никакого отношения к цвету не имела[4 - Буквальные значения иероглифов: Ака-ма?цу – «красная сосна», О-у?ми (или Ао-у?ми) – «синее море», Сира-нэ? – «белый корень», Куро?-но – «черная пустошь» (яп.). Фамилию Та-дза?ки можно перевести как «скопление утесов» (яп.). Имя Ц(у)ку?ру – фонетический омоним глагола «делать, создавать, производить»]. Из-за этого он всегда ощущал себя не таким, как все. Разумеется, характер человека не зависит от того, есть ли в его имени какой-нибудь цвет. Это понятно. Но Цкуру собственная «бесцветность» огорчала и даже злила. Остальные же четверо, не сговариваясь, стали называть друг друга просто по цветам – Красный и Синий, Белая и Черная. И только его по-прежнему звали Тадзаки. Эх, то и дело сокрушался он про себя, почему я тоже не родился с «цветной» фамилией? Как было бы здорово...

Красный был талантом в учебе. И хотя никто не видел, чтобы он когда-либо усердно занимался, по всем предметам он учился лучше всех в классе. Однако носа не задирал; напротив, всегда делал шаг назад и следил, чтобы не опережать остальных. Словно стеснялся того, что умный. Зато, как свойственно низкоросликам (даже взрослым Красный так и остался маленьким), если уж вбивал себе что-нибудь в голову, даже самый пустяк, от идеи своей не отступался почти никогда. Часто злился на учителей, если те объясняли чересчур нелогично или запутанно. И перфекционист притом – когда проигрывал в теннис, впадал в затяжные депрессии. Не то чтобы он боялся проигрышей в принципе, но долго ходил надутый и молчаливый. Остальные четверо подтрунивали над его угрюмостью, пока Красный сам не расхохочется. Отец его был профессором экономики и преподавал в университете Нагои.

Синий был форвардом в школьной сборной по регби. Безупречно сложен. В выпускном классе его даже выбрали капитаном команды. Плечистый, грудь колесом, скулы широкие, голос громкий, нос картошкой. Агрессивный игрок, вечно в свежих ссадинах и царапинах. К учебе рвения он не проявлял, и многим нравилось его жизнелюбие. С людьми Синий разговаривал внятно, глядя прямо в глаза. Идеальный обжора к тому же – мог есть что угодно с таким видом, будто ничего вкуснее в жизни не пробовал. Плохо о людях он никогда не отзывался и мгновенно запоминал любого по имени. Больше слушал других, чем говорил сам, и бывал душой любой компании. Цкуру до сих пор вспоминает, как перед началом матча Синий размахивал руками и разогревал товарищей по команде задиристыми лозунгами.

– Слушайте все! – кричал он. – Сегодня мы победим! Вопрос только один – как победим и с каким счетом. Но победим – это факт! Проигрыш невозможен! Победа – будет – за нами!

– Победа – будет – за нами! – хором орала вся команда и выбегала на поле.

Команда, впрочем, оставляла желать лучшего. Сам-то Синий был прирожденным атлетом и умным игроком, а вот соратники его звезд с неба не хватало. На всеяпонских соревнованиях среди школьников-юниоров они то и дело проигрывали. Но Синий и после очередного поражения не очень расстраивался.

– Самое важное – воля к победе, – повторял он. – В этой жизни невозможно только побеждать. Должны быть и поражения. Как солнышко и дождь, попеременно.

– Ну да, – однажды поддела его Черная. – Только иногда случаются особо затяжные дожди...

Синий с грустью покачал головой.

– Не путай регби с теннисом или бейсболом. В регби матч состоится в любую погоду.

– Даже если льет как из ведра? – удивилась Белая. Спортом она не интересовалась и почти ничего в нем не смыслила.

– А как же! – ответил ей Красный тоном знатока. – В регби матч не отменяют и не останавливают, какой бы ливень ни хлынул. Поэтому каждый год по несколько регбистов захлебывается насмерть в какой-нибудь луже.

– Ужас какой! – содрогнулась Белая.

– Вот дурочка... Шуток не понимаешь? – усмехнулась Черная, закатывая глаза.

– Я не о том, – продолжал Красный. – Я просто хотел сказать, что умело проигрывать – тоже большое искусство...

– Которое ты оттачиваешь каждый день? – тут же съязвила Черная.

Белая была круглолицей, точно старинная японская кукла, но высокой и стройной – вылитая фотомоделка. Длинные черные волосы блестели, будто лакированные. Когда она шла по улице, на нее оборачивались прохожие, а сама Белая держалась так, словно тяготилась своей красотой. Серьезная девушка, она совершенно не умела хранить спокойствие, если понимала, что кому-нибудь нравится. Прекрасная пианистка – но никогда не играла для тех, кого плохо знала, хотя казалась удивительно счастливой, когда учила музыку своих дошколят. И больше, пожалуй, никогда и нигде не выглядела такой смирной и просветленной. Есть дети, говорила она, которые не могут нормально учиться, но тонко чувствуют музыку, и этот талант слишком непрослительно зарывать в землю... Но в той старенькой школе не было ничего, кроме раздолбанного пианино, и потому они поставили себе сверхзадачу: надо, чтобы у школы появился новый инструмент.

Подрабатывали все лето. На музыкальной фабрике их поддержали. И вот, наконец, им достался отличный рояль. Случилось это весной их последнего школьного года. Такая бурная бескорыстная деятельность не осталась незамеченной, и о них даже написали в газете.

Белая обожала животных; едва разговор заходил о ее любимых котиках и собачках, она, обычно немногословная, тут же преображалась и начинала болтать без умолку, словно под гипнозом. Сама Белая утверждала, что мечтает стать ветеринаром, но Цкуру не мог представить, как бы она разрешила скальпелем живот лабрадору или ковырялась в прямой кишке захворавшей лошади. А ведь в любой ветеринарной клинике без такого никак. Отец ее управлял частной гинекологической консультацией.

А Черная в любой толпе выделялась ростом. Приятное лицо, теплый взгляд, вся крупная, полноватая, пышногрудая уже в шестнадцать. Нравом крута, независима в суждениях, быстро говорит, вертит головой по сторонам. По гуманитарным предметам – отличница, а вот точные науки еле тянула. Отец ее владел аудиторской фирмой, но на помощь дочери в делах даже не рассчитывал. Иногда Цкуру подтягивал ее по математике. Язык у Черной был до того остер, что разговаривать с ней было – все равно что кататься на американских горках. И без книги в руках ее никогда не видели.

Черная с Белой учились вместе еще в средней школе и хорошо знали друг дружку задолго до того, как сложилась «неразлучная пятерка». Наблюдать их вместе было удовольствием особым. Муза и комедиантка. Головокружительное сочетание.

И только Цкуру не отличался ничем особенным. В школе – крепкий середнячок. Учиться особо не любил – просто внимательно слушал учителей и прилежно выполнял все, что задано. Прилежен он все равно был с детства. Обязательно мыл руки перед едой, а после еды сразу чистил зубы. Вот и учился так же – чтобы не беспокоить собой окружающих, – и сдавал все так, чтоб только не выпасть из обоймы. Да и родители не пилили сына из-за отметок, позволяли расти, как ему хочется, и не нанимали никаких репетиторов.

Спорта он не избегал и, хоть не ходил ни в какие секции, не отказывался поиграть с друзьями в теннис, покататься на лыжах или поплавать в бассейне. Как-то так. Лицо у него правильное, об этом ему часто говорили, хотя скорее всего такое означало только: «Ну хоть не урод». Сам же он, глядя в зеркало, видел на своем лице одну лишь непреходящую скуку. Искусством Цкуру не интересовался, хобби у него не было, особыми умениями не блистал. Был скуп на слова, часто краснел от неумения общаться и с каждым новым знакомым ощущал себя не в своей тарелке.

От остальных друзей его отличали разве что доход его семьи – самый солидный, – да еще тот факт, что его тетка по матери, уважаемая актриса, была хоть и не красавица, но известна на всю страну.

В самом же Цкуру было нечего похвалить, как и не на что показать пальцем и воскликнуть: «Ого!» По крайней мере, сам о себе он думал именно так. Средний во всем. Ну или – бесцветный.

Впрочем, было у Цкуру Тадзаки одно-единственное увлечение – разглядывать железнодорожные станции. С малых лет, сколько он себя помнил, станции его околдовывали. Будь то исполинские вокзалы «Синкансэн»[5 - «Синкансэ?н» (новая магистраль, яп.) – высокоскоростная сеть железных дорог в Японии для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании «Japan Railways (JR)».]], скромные перроны при маленьких деревушках или товарные сортировки, где нет ничего лишнего. Была бы станция, а остальное не важно.

Собирать игрушечную железную дорогу Цкуру обожал, как и все обычные дети. Только его она манила не сверхсовременными локомотивами, не хитроумной паутиной рельсов и шпал, не искусно продуманными диорамами, а именно мини-моделями самых обычных станций. Он любил смотреть, как поезда проносятся мимо или замедляют ход и останавливаются у перронов. Представлял, как садятся в вагоны и сходят на платформу пассажиры, как звучат в динамиках объявления и звенит перед отбытием колокол, как проворно снуют туда-сюда станционные служащие.

Реальность и фантазии в голове у него перемешивались, а все тело охватывала легкая дрожь. Вот только почему станции так поражали его, он никому из окружающих внятно объяснить не мог. А если бы и смог, его, скорее всего, сочли бы очень странным ребенком. Впрочем, Цкуру и сам частенько ловил себя на мысли: внутри у него что-то не так.

Ничем не выдающийся, с единственным увлечением, которое (вроде бы) немного отличало его от других. С таким осознанием себя он и прожил с первых классов школы до нынешних тридцати шести лет, то погружаясь в хаос, то забредая в тупик. Иногда это почти не задевало его, а иногда – ранило, и даже весьма глубоко.

Иногда он даже не мог понять, зачем они приняли его в свою компанию. Неужели он действительно нужен остальным? Может, не подружись они с ним, всем было бы и легче, и веселей? Или они просто еще не успели его раскусить, но это всего лишь вопрос времени? Чем дольше он думал об этом, тем сильнее запутывался. Стремление отыскать в себе хоть какую-то ценность – все равно что поиск вещества, для которого не придумано шкалы измерений. Стрелка датчика елозит по экрану и никак не застынет на каком-то одном показателе.

Но четверо его друзей, похоже, об этом совсем не задумывались. Он до сих пор живо помнит, как они собирались все впятером и веселились до упаду. Причем для полного веселья требовались именно пятеро. Ни больше, ни меньше, как в идеально равностороннем пятиугольнике. По их лицам это видно было и без слов.

Он радовался и гордился тем, что принадлежал к этому пятиугольнику, – обожал и каждого из них в отдельности, и всех четверых сразу. Как молодое деревце тянет корнями соки из-под земли, Цкуру заряжался от этой дружбы энергией для собственного роста и запасался ею на черный день. Но в глубине души постоянно ворочался страх: однажды он все-таки выпадет из этого братства, или же его оттуда изгонят, и он останется один навсегда.

Поэтому всякий раз, когда он прощался с друзьями, в его сердце пробуждалось беспокойство – словно черный, зловещий риф, выступающий из моря при отливе.

* * *

– Значит, ты с малых лет любил станции? – с явным интересом уточнила Сара? Кимо?то.

Цкуру осторожно кивнул. Как бы она не заподозрила, что он просто великовозрастный балбес, повернутый на железных дорогах. Впрочем, рано или поздно все равно заподозрит наверняка.

– Ага, – признал он. – Почему-то с раннего детства станции люблю.

– Какая последовательная жизнь, – сказала она слегка удивленно, хоть и вполне одобрительно.

– Но почему именно станции – объяснить не могу.

Сара засмеялась.

– Наверно, призвание?

– Возможно, – допустил он.

«Почему мы тогда заговорили об этом?» – думает теперь Цкуру. Разговор тот состоялся тысячу лет назад, и ему очень хотелось бы удалить его из памяти. Но Сара зачем-то хотела, чтобы он рассказал про свои школьные годы.

Как учился, чем занимался. И совершенно неожиданно для себя он ей поведал о компании из пяти неразлучных друзей. О четырех «цветных» и одном «бесцветном» – себе самом.

Беседовали они в маленьком баре на окраине района Эбису. Хотя вообще-то собирались поужинать в ее любимом ресторанчике. Но она сказала, что поздно обедала, не голодна, и лучше отменить заказанный столик, а вместо ужина выпить коктейлей да закусить каким-нибудь сыром с орешками. Цкуру и сам не хотел есть, так что не возражал. Ел он вообще немного.

Сара была старше Цкуру на пару лет и работала в крупной туристической компании. Организовывала пакетные заграничные туры. И, понятное дело, часто ездила в командировки за границу. А Цкуру служил в железнодорожной компании, которая охватывала весь запад региона Канто[б - Канто? (букв. «регион на восток от заставы», яп.) – регион острова Хонсю, самая высокоразвитая и урбанизированная часть Японии, в которой расположены крупнейшие мегаполисы страны – Токио, Иокогама, Сайтама, Тиба и др.], в отделе планирования станционных сооружений (и правда – призвание). И хотя занятия эти различались, объединяла их общая тема: перевозка пассажиров. Познакомились они на вечеринке у одного из начальников Цкуру, который отмечал постройку нового дома, и тогда же обменялись электронными адресами. Нынешнее свидание было уже четвертым. На третьем они поужинали, затем поехали к нему и переспали, что показалось им очень естественным. Случилось это всего неделю назад, а сегодня они встретились снова. Если так пойдет дальше, их отношения углубятся не на шутку. Ему тридцать шесть, ей тридцать восемь. Что говорить, давно уже не старшеклассники.

Внешность ее поразила Цкуру при первой же встрече. Обычной красотой это не назвать. Упрямые скулы чуть слишком резки – как и тонкий, слегка заостренный нос. Но в целом лицо настолько живое, что не обратить внимания невозможно. Чуть прищуренные глаза распахивает пошире, когда хочет что-нибудь разглядеть, и в черных глазах этих – ни малейшей робости, сплошное любопытство.

Хотя Цкуру не задумывается об этом специально, есть у него на теле зона особой, повышенной чувствительности. Где-то меж лопаток – мягкая, загадочная, рукой не дотянешься – и, как правило, прикрытая чем-нибудь так, что никому не видна. Но иногда, совершенно непредсказуемо, зона эта почему-либо обнажается, и кто-нибудь касается ее кончиками пальцев. И тогда организм Цкуру вырабатывает особое вещество. Оно попадает в кровь и разносится по всем уголкам тела, возбуждая не только плоть, но и душу.

Уже при первой встрече он почувствовал, что Сара включила его как нужно, нажав на кнопку в той безымянной зоне. В день знакомства они разговаривали очень долго, хотя он не помнил о чем. В памяти осталось лишь прикосновение ее пальцев – и вызванный этим касанием экстаз. Какие-то винтики совсем разболтались, какие-то закручены намертво... Такое вот ощущение. Но что оно означает? Над этим Цкуру размышлял несколько дней. Но размышлять о том, что не имеет формы, толком не получалось. И потому он отослал ей по электронке письмо с приглашением на ужин. Желая проверить, что же все это значит.

Кроме внешности как таковой, ему нравилось и то, как она себя подавала. Украшений почти никаких, скромная стрижка очень к лицу. Одета неброско, но можно представить, с какой требовательностью подбиралась каждая вещь, явно стоившая того, что за нее заплатили. Косметика и бижутерия дорогие, в безупречном сочетании. И хотя к своей одежде Цкуру относился довольно безразлично, женщин, которые умеют одеваться стильно и со вкусом, всегда ценил – примерно так же, как ценят прекрасную музыку.

Его старшие сестры тоже любили наряжаться; всякий раз, собираясь на очередное свидание, отлавливали тогда еще маленького Цкуру и выпытывали, что он думает насчет их внешнего вида. И к его словам почему-то относились очень серьезно. «Слушай, а как тебе вот это? – спрашивали они. – А такое сюда подойдет?» И он, единственный в те минуты

мужчина в доме, старательно выносил суждения. Сестры уважали мнение брата, и он был счастлив. Так со временем оценивать стиль женской одежды вошло у него в привычку.

Отхлебнув виски с содовой и льдом, он представил, как стягивает с Сары платье. Отцепляет крючок, расстегивает молнию. Пока такое произошло только раз, но секс у них получился очень удачным и, похоже, обоим понравился. Как в платье, так и раздетая, Сара выглядела лет на пять моложе своего возраста. Белая кожа, небольшая, но полная грудь. Он ласкал эту женщину долго и с наслаждением, а кончив, прижал к себе и захлебнулся от нежности. Хотя, конечно, только этим ограничиваться нельзя, он все понимал. Таковы уж правила человеческих отношений. Если что-то берешь – отдавай что-нибудь взамен.

– А у тебя как все было в школе? – спросил Цкуру Тадзаки.

Сара покачала головой.

– Да ну ее, мою школу. Скучно рассказывать. Как-нибудь в другой раз. Сейчас хочется тебя послушать... Так что же случилось с вашей «неразлучной пятеркой»?

Цкуру набрал пригоршню орешков, закинул парочку в рот.

– В нашей компании было несколько негласных правил, которые не обсуждались. Одно гласило: чем бы мы ни занимались – все делаем впятером. Скажем, таких дел, которые могут выполнить двое, мы старались избегать. Иначе компания распадется. А мы должны держаться друг друга и быть центростремительной единицей. Как лучше сказать... В общем, мы очень старались, чтобы наш союз оставался гармоничным и нерушимым.

– Союз гармоничный и нерушимый? – с каким-то искренним удивлением повторила она.

Цкуру едва заметно покраснел.

– Старшеклассники, куда деваться. Каких только глупостей не придумают...

Пристально глядя на него, Сара чуть наклонила голову.

– Не думаю, что это глупости. И какая же цель была у вашего союза?

– Цель – как я уже говорил: помогать после уроков подготовишкам. Именно это нас когда-то объединило – и, в общем, всегда оставалось для каждого очень важным. Хотя со временем, возможно, сохранение союза и стало его самоцелью...

– Существование ради существования?

– Наверное.

Сара прищурилась.

– Прямо как у Вселенной.

– Насчет Вселенной не знаю, – отозвался Цкуру. – Но для нас в те дни это ужас как много значило. Казалось, нужно во что бы то ни стало сохранить между нами эту... chemistry[7 - Chemistry (англ.) – химия.]. Ну, как не дать погаснуть спичке на ветру.

– Chemistry?

– Сила, возникшая при конкретных обстоятельствах. Только однажды – и больше никогда.

– Как Большой Взрыв?

– В Большом Взрыве я тоже разбираюсь неважно, – признался Цкуру.

Сара отхлебнула мохито, повертела в пальцах бокал, разглядывая плавающие в нем листья мяты, и наконец сказала:

– А я, знаешь, все детство проучилась в женской гимназии. И, если честно, плохо понимаю, как могут девчонки с парнями вот так дружить одной компанией. Даже представить себе не могу. Получается, чтобы сохранить ваш союз, вы решили себя ограничивать, что ли? Отрицание себя ради дружбы?

– Не знаю, подходит ли сюда «отрицание». Пожалуй, слишком сильное слово. Хотя, наверное, все-таки да – мы старались не допускать, чтобы дружба перерастала в сексуальные симпатии.

– Но вслух не обсуждали? – уточнила Сара.

Цкуру кивнул.

– Да, словами не говорили. Все-таки инструкций для такого не сочиняют.

– Ну а сам ты что же? Всю дорогу вместе – и ни к Белой, ни к Черной не тянуло? Насколько я поняла, девчонки они были симпатичные...

– О да, очень. Каждая по-своему. Я бы соврал, сказав, что не тянуло. Но об этом я, насколько мог, старался не думать.

– Насколько мог?

– Насколько мог, – повторил Цкуру и почувствовал, что снова краснеет. – А когда совсем не думать не получалось, думал про обеих сразу.

– Про обеих сразу?

Цкуру помолчал, подыскивая слова.

– Не могу объяснить как следует. Ну... нечто вроде фантазии, что ли. Идеальная фантазия, бесплотная и бесформенная.

– Хм-м... – озадаченно протянула Сара. И задумалась на несколько секунд. Открыла было рот, но спохватилась, а чуть погодя уточнила: – Значит, после школы ты уехал из Нагои и поступил в токийский вуз, верно?

– Да, – кивнул Цкуру. – С тех пор так в Токио и живу.

– А остальные четверо?

– Поступили кто куда в родном городе. Красный – в универ, на факультет экономики. У него там отец преподавал. Черная – в элитный женский колледж на английский. Синий отлично в регби играл, его взяли по рекомендации в частный коммерческий институт. А Белую родня отговорила-таки идти в ветеринары, и она подалась в музучилище на класс фортепьяно. У всех получилось так, что учеба от дома недалеко. И только я уехал в Токио и поступил в политехнический.

– А почему именно в Токио?

– Да очень просто. Именно в Токийском политехе преподает уникальный в своем роде профессор – архитектор железнодорожных станций. Наука это особая, совсем не похожа на архитектуру обычных зданий. От выпускника обычного строительного факультета здесь проку мало. Тут нужен профессионал очень узкого профиля.

– Конкретная цель упрощает жизнь... – задумчиво произнесла Сара.

И Цкуру с этим согласился.

– И что же, – сказала она, – остальные четверо остались в Нагое, потому что не хотели разваливать ваш нерушимый союз?

– В последнем классе школы мы собрались впятером и обсудили, кто что будет делать дальше. Все, кроме меня, хотели и дальше учиться в Нагое. О причинах вслух не говорили, но было ясно, что им неохота разрушать компанию...

Красный – с его-то успехами – мог бы легко поступить в Токийский универ: это ему в один голос советовали как родители, так и учителя. Синий с его спортивным талантом тоже запросто получил бы рекомендацию в какой-нибудь элитный вуз. Черная с ее утонченным интеллектом успешно развернулась бы в мегаполисе, поступив без труда в какой-нибудь столичный частный колледж. Конечно, Нагоя тоже город немаленький, но с культурной жизнью бедновато – все-таки провинция. Однако все четверо решили остаться там – пускай и на ступеньку ниже того уровня, которого заслуживали. Из них, кажется, только Белая сроду не выезжала никуда из Нагои. Даже не потому, что боялась разрушить компанию, а просто не искала себя активно во внешнем мире.

– Они спросили, что собираюсь делать я, и я ответил, что пока не знаю. Но уже тогда решил, что буду учиться в Токио. Хотя с радостью остался бы с ними в Нагое и поступил в местный вуз на похожую специальность, будь такое возможно. И самому веселей, и домашние были бы счастливы. Предки-то надеялись, что я продолжу папашин бизнес. Но я понимал: не уеду в Токио – сильно потом пожалею. Очень уж хотелось поучиться у того профессора.

– В самом деле... – сказала Сара. – И когда ты уехал, как они к этому отнеслись?

– Что они действительно думали, я, конечно, не знаю. Но уж наверное обиделись. Все-таки впервые наше общее чувство, что все заодно, вдруг куда-то исчезло...

– Любое chemistry когда-нибудь да улечивается?

– Или становится чем-то принципиально другим. В большей или меньшей степени.

И все-таки стоит признать: узнав о его твердом решении, друзья не стали его отговаривать. Напротив, даже принялись подбадривать, мол, от Токио на «Синкансэне» всего полтора часа. Всегда сможешь сразу сесть и приехать. И даже подшучивали – дескать, еще и не факт, что поступишь. Ведь и в самом деле, чтобы поступить именно в тот вуз и на тот факультет, Цкуру пришлось впервые в жизни учиться всерьез, позабыв обо всем остальном.

– И что же стало с вашей «неразлучной пятеркой» после школы? – спросила Сара.

– Сначала все шло отлично. На каникулах – осенью, весной, летом, на Новый год – я возвращался в Нагою и старался побыть с ними подольше. И все оставались близки, как и прежде...

И действительно, всякий раз, когда он приезжал в родной город, все старались скорее увидеться с ним, а при встречах болтали без умолку: интересные темы не иссякали. Без него собирались вчетвером. А потом появлялся он, и их вновь становилось пятеро (разумеется, кроме тех случаев, когда кто-то бывал занят – тогда могли собираться даже втроем). Они по-прежнему радовались ему. Ни разу не случилось, чтобы кто-то кого-то не понял – по крайней мере, сам Цкуру, к своей радости, ничего такого не замечал. Возможно, поэтому в столице он так ни с кем и не подружился, хотя это его ничуть не расстраивало.

Сара посмотрела на него, прищурившись.

– То есть в Токио у тебя вообще не было друзей?

– Да не заводились... почему-то, – ответил Цкуру. – Я вообще с людьми нелегко схожусь, хотя и в себе, конечно, не замыкаюсь... Тогда я просто впервые смог жить один и заниматься чем хочу. Так день за днем и наслаждался свободой. Весь Токио – это паутина железных дорог с огромным числом вокзалов. Поэтому все свободное время я путешествовал сам по себе – ездил по станциям, изучал, как они устроены, зарисовки делал, записывал в блокнот занятные идеи...

– Звучит интересно, – сказала Сара.

И все же учеба на первом курсе интереса у Цкуру не вызывала. Лекций по специальности в расписании пока было мало, а почти все остальные предметы казались ему скучными и заурядными. Но поскольку Цкуру с таким трудом поступил в этот вуз, он заставлял себя ходить на занятия. Изучал немецкий, французский, подтягивал разговорный английский. К своему удивлению, он вдруг обнаружил в себе склонность к изучению языков. Вот только никто из однокашников его ничем не привлекал. По сравнению с яркой и заводной четверкой школьных друзей практически вся студенческая братия казалась ему вялой, унылой и безликой. Ни с кем

не хотелось ни дружить, ни общаться. Вот почему почти все свободное время в Токио он оставался один. И благодаря этому стал читать больше книг.

– И тебе не было грустно? – спросила Сара.

– Одиноко – бывало. Но не грустно. Ведь сам-то я считал такую жизнь вполне нормальной.

Он был юн, об окружающей жизни знал еще очень мало. Да и новый токийский мир сильно отличался от среды, в которой он вырос. Мегаполис оказался куда огромней, чем он себе представлял. Слишком большой выбор того, чем можно заняться, слишком непривычно общаются друг с другом люди, слишком быстро несется жизнь. Из-за всего этого он никак не мог настроить баланс между собой и окружающим. Но главное – в те годы ему еще было куда возвращаться. Садись на Токийском вокзале в «Синкансэн» – и через каких-то полтора часа прибываешь в «нерушимый оплот гармонии и дружбы». Туда, где время течет неспешно и всегда ждут те, перед кем еще можно распахнуть душу.

– Ну а как ты живешь сейчас? – спросила Сара. – Настроил баланс между собой и миром?

– В этой фирме я прослужил четырнадцать лет. Меня там ценят, да и мне работа нравится. С коллегами я лажу. За эти годы спал с несколькими женщинами, но со всеми в итоге расстался. По разным причинам. Иногда виноват был я сам, иногда – не только...

– И вот ты опять одинок, но тебе не грустно.

Вечер только начался. В ресторане, кроме них, посетителей не было. Еле слышно наигрывал джаз. Фортепьянное трио.

– Пожалуй, – чуть запнувшись, ответил он.

– Но места, куда можно вернуться, больше нет? «Нерушимого оплота гармонии и дружбы»...

Цкуру ненадолго задумался. Хотя что уж теперь-то думать?

– Да, больше нет, – очень тихо ответил он.

О том, что это место бесследно исчезло, он узнал на втором курсе, во время летних каникул.

2

То лето изменило жизнь Цкуру Тадзаки до неузнаваемости. Так острый горный кряж рассекает равнину – и полностью меняет всю окружающую растительность.

Как и привык до тех пор, в первый же день каникул Цкуру собрал вещи (совсем немного) и сел в вагон «Синкансэна». Вернувшись в Нагою, заглянул ненадолго домой – и тут же обзвонил друзей. Однако ни одного не застал. Нет дома, сообщали ему каждый раз. Видно, все четверо отправились куда-

нибудь вместе, решил он. Оставив каждому по сообщению, он прогулялся до центра города, побродил по улочкам, зашел в кино и убил пару часов фильмом, смотреть который хотел не особенно. Затем вернулся домой, поужинал с родней – и снова обзвонил всех четверых. Ни один еще не вернулся.

На следующий день, ближе к обеду, он прозвонил их опять, но их по-прежнему не было. Цкуру вновь попросил передать, чтобы ему перезвонили, как только вернутся. Хорошо, так и передадим, отвечали ему домашние, бравшие трубку. Но в самом тоне их ответов слышалось такое, от чего у него екнуло сердце. В первый день он не обратил на это внимания, но такие интонации чем-то неуловимо отличались от обычных. Как будто все эти люди избегали разговаривать с ним дружелюбно. Словно каждому так и хотелось скорее повесить трубку. Особо безжизненно с ним, похоже, разговаривала сестра Белой. Она была на два года старше (и не такая яркая, но тоже красавица) и до сих пор, когда Цкуру звонил, постоянно шутила с ним. Или, по крайней мере, всегда тепло здоровалась и прощалась. Теперь же выпалила резкий ответ и бросила трубку. Позвонив по четырем номерам, Цкуру почувствовал себя переносчиком какой-то ужасной, постыдной болезни, от которого все шарахаются.

Тут явно что-то не так, подумал он. Пока его не было в городе, случилось нечто такое, из-за чего все решили от Цкуру отвернуться. Что-нибудь неподобающее, нежелательное. Но что это может быть, он даже вообразить не мог, сколько ни ломал голову.

В груди словно засел какой-то комок, сгусток непонятной дряни, которая не выхаркивалась, но и не растворялась. Весь день Цкуру просидел дома, ожидая звонка. За что бы ни брался, все валилось из рук. Всем четырем семьям он по несколько раз сообщил, что приехал в Нагою. Обычно после первой же такой весточки ему сразу перезванивали, и в трубке раздавался ликующий крик. Теперь же, сколько ни жди, телефон угрюмо и упорно молчал...

Наступил вечер, он собрался было перезвонить всем еще раз. Но раздумал. Наверняка же все его друзья на самом деле дома. Просто не хотят звонить,

вот и прячутся за домашних. «Если будет звонить Цкуру Тадзаки, отвечайте, что меня нет...» Скорее всего – так. С чего бы иначе вся их родня говорила такими странными голосами?

Но почему?

Никакой возможной причины в голову не приходило. В последний раз они собирались всей командой на каникулах в начале мая. Когда Цкуру уезжал обратно в Токио, все четверо даже поехали провожать его на вокзал. И, дурачась, синхронно махали ему с перрона. Словно провожали воина, уезжавшего служить в дальний край.

А потом Цкуру написал из Токио несколько писем Синему. От руки. Белая все не могла освоить компьютер, и потому они переписывались по старинке – вручную, на бумаге. А Синий у них был почтмейстером: все письма посылались ему, а он показывал их всем. Так сберегалась куча времени и сил – не нужно было писать по несколько писем об одном и том же. Цкуру писал в основном о жизни в Токио. Что увидел, что пережил, что почувствовал. Хотя чем бы ни занимался – постоянно думал, как было бы здорово им всем опять оказаться вместе. И он писал им прежде всего об этом. А об остальном – уже так, заодно...

И четверка друзей прислала ему несколько писем, и в них тоже не было ничего странного. Простые и подробные отчеты о том, что происходит у них в Нагое. Каждый по-своему наслаждался радостями студенческой жизни в городе, где все они выросли. Синий купил себе подержанную «Хонду Аккорд» (заднее сиденье – в таких пятнах, словно там исправно мочилась собака), все они загрузились в нее и проехали аж до озера Бива[8 - От г. Нагоя до крупнейшего японского озера Бива – около 100 км.]. Машина пятиместная (если, конечно, не сажать туда толстяков). Все жалели, что Цкуру не было. И в конце приписка: скорей бы лето, чтобы снова собраться всей компанией. На взгляд Цкуру, сколько ни перечитывай – абсолютно открытые, искренние послания.

Спал он в ту ночь плохо. Нервы расшалились, в голове какая-то каша, хотя все видения сводились к одному. Словно разучившись ориентироваться в пространстве, он бродил по кругу, возвращаясь туда же, откуда пришел. Пока, наконец, его сознание не заклинило, точно винт с сорванной резьбой, ни туда ни сюда.

До четырех утра он не мог заснуть. Затем погрузился в какую-то дрему, но уже в седьмом часу проснулся и выбрался из постели. Есть не хотелось. Лишь выпил стакан апельсинового сока, но даже после него слегка подташнивало. Заметив, что у сына вдруг пропал аппетит, родители забеспокоились, но он сказал им, что все в порядке. Просто небольшое расстройство желудка.

И весь следующий день он не выходил из дому. Лежал перед телефоном и читал книгу. Точнее – пытался. А после обеда еще раз позвонил каждому из четверых. Без особой надежды; но от неизвестности и ожидания стало совсем невыносимо.

Результат оказался тем же. Подходившая к телефону родня – кто холодно, кто извиняясь, кто бесстрастно – сообщала ему, что друзей нет дома. И Цкуру, коротко, но вежливо поблагодарив, вешал трубку. Теперь он не просил ничего передать. В конце концов, всем четверым наверняка осточертело каждый день делать вид, что их нет. И уж по крайней мере родные, вынужденные их прикрывать, скоро начнут возмущаться. На это он и рассчитывал. Если звонить и дальше, рано или поздно они как-нибудь отзовутся.

И действительно, в девятом часу вечера раздался звонок от Синего.

– Ты уж прости, но... никто не хочет, чтобы ты звонил нам, – произнес в трубке Синий. Без какого-либо вступления. Не сказав ни «привет», ни «как дела», ни «давненько не виделась». «Ты уж прости» было единственным проявлением вежливости.

Цкуру набрал в грудь воздуха и прокрутил в голове услышанное, подыскивая ответ. Попытался прочесть эмоцию собеседника. Но тот всего лишь извещал его – формально и без малейших чувств.

– Конечно, если никто не хочет, больше звонить не буду, – ответил Цкуру. Слова эти вырвались у него почти машинально. Он хотел сказать их спокойно, однако собственный голос показался ему совершенно чужим. Голосом жителя какого-то далекого города, с кем он никогда не встречался и вряд ли когда-нибудь встретится.

– Будь так добр, – сказал Синий.

– Я не собираюсь делать то, чего от меня не хотят... – начал Цкуру.

Синий то ли горько вздохнул, то ли понимающе хмыкнул.

– ...Но, по возможности, хотел бы знать, что случилось, – добавил Цкуру.

– Лично я этого объяснить не могу.

– А кто может?

В трубке повисло молчание. Непроницаемое, точно каменная стена. Слышно было только, как Синий сопит. Вспоминая его широкий, чуть приплюснутый нос, Цкуру ждал, что дальше.

– Подумай – сам поймешь, – наконец ответил Синий.

Цкуру потерял дар речи. Что значит – подумай? О чем тут еще думать? Чтобы думать еще больше, чем до сих пор, придется перестать быть собой!

– Жаль, что так вышло, – добавил Синий.

– Так считают все?

– Да, всем жаль.

– Эй. Да что произошло-то?

– Спрашивай у себя, – ответил Синий. Его голос дрогнул от горечи и обиды, но лишь на какой-то миг. И прежде чем Цкуру сообразил, что сказать, связь прервалась.

* * *

– То есть больше он ничего не сказал? – уточнила Сара.

– Это был очень короткий разговор. Именно о том, что ничего больше он говорить не собирается, – сказал Цкуру.

Они сидели друг против друга за столиком в баре.

– И после этого ни с ним, ни с остальными тремя ты это не обсуждал? – спросила Сара.

Цкуру покачал головой.

– Нет, ни с кем.

Сара поглядела на него, прищурившись, так, словно увидела нечто совершенно бессмысленное.

– Вообще ни разу?

– Так я ни с кем больше и не встречался.

– Но неужели ты не хотел понять, почему твои друзья вдруг выкинули тебя из компании?

– Как бы тебе объяснить... Тогда стало как-то все равно. У меня перед носом захлопнули дверь и перестали пускать внутрь. Почему – не объяснили. Но если так действительно хотят все, то и пускай, ничего тут уже не поделаешь.

– Что-то я не пойму, – озадаченно сказала Сара. – А вдруг это произошло по ошибке? Ведь ты сам говоришь, что не находил никаких объяснений. Разве ты не жалел, что так вышло? Разве не думал, что, возможно, потерял бесценных друзей просто потому, что кто-то чего-то не понял? И что ошибку можно исправить?

Ее бокал опустел. Она жестом подозвала бармена и попросила красного вина. Из предложенного, хорошенько подумав, выбрала «Napa Cabernet Sauvignon». У Цкуру оставалось еще полстакана виски с содовой. Лед растаял, бокал запотел, картонная подставка разбухла.

– Впервые в жизни меня так резко и безоговорочно вычеркнули из друзей, – ответил Цкуру. – Причем именно те, кому я доверял как себе самому. Я был в таком шоке, что ни выяснять причины, ни исправлять ошибки даже в голову не приходило. Долго оклематься не мог. Как будто внутри у меня что-то оборвалось...

Принесли бокал вина и еще орешков. Когда бармен удалился, Сара снова заговорила:

– Со мной подобного не случилось, но я могу представить, как это тяжело. Но со временем, немного оправившись, разве ты не мог что-нибудь выяснить? Ведь если оставить такую нелепость без объяснений, вся жизнь может пойти под откос! Как же ты выдержал?

Цкуру чуть заметно покачал головой.

– На следующее утро, как рассвело, я сочинил убедительный предлог для домашних, сел в «Синкансэн» и уехал в Токио. Что бы там ни случилось, оставаться в Нагое больше не мог ни дня.

– Я бы на твоём месте осталась, пока все не выясню.

– У меня тогда не было сил, – вздохнул Цкуру.

– Или желания узнать правду?

Цкуру уперся взглядом в собственные руки на столе.

– Скорее, я просто боялся увидеть, что за правда мне откроется, – сказал он, осторожно подбирая слова. – Я считал, что все равно эта правда не спасет меня, какой бы ни оказалась. Почему – сам не знаю, но был в этом уверен.

– И сейчас еще уверен?

– Трудно сказать... – вздохнул Цкуру. – Но тогда – абсолютно.

– И потому сбежал в Токио, спрятался в своей квартирке, заткнул уши и закрыл глаза, так?

– Если коротко – да.

Сара протянула руку через стол и накрыла ею пальцы Цкуру.

– Бедный Цкуру Тадзаки, – вздохнула она. От ее касания по телу Цкуру пробежала мягкая волна. Чуть погодя Сара отняла руку, взяла свой бокал и поднесла к губам.

– С тех пор я езжу в Нагою только по крайней необходимости, – продолжал Цкуру. – И даже тогда из дому стараюсь не выходить, а если все-таки нужно, заканчиваю дела – и сразу назад. Мать с сестрами беспокоились, приставали с расспросами, что со мной и все такое, но я им ничего не рассказывал. Просто язык не поворачивался.

– И где сейчас эти четверо, чем занимаются, ты не знаешь?

– Понятия не имею. Они о себе ничего не сообщали, а сам я, если честно, и знать не хочу.

Она повертела в пальцах бокал, наблюдая за переливами цвета в вине. Будто вглядывалась в чьи-то судьбы. Потом заговорила снова.

– В общем, странно все это звучит. Похоже, те события очень серьезно изменили тебя. Так, нет?

Цкуру коротко кивнул.

– Думаю, во многом я стал другим человеком.

– В чем, например?

– Например, стал чаще выглядеть занудой и жалким ничтожеством в глазах других людей. А может, и в своих тоже.

Сара долго смотрела на него. И наконец очень серьезно произнесла:

– Лично я не считаю тебя ни занудой, ни жалким ничтожеством.

– Спасибо, – сказал Цкуру и легонько потер виски. – Но с этим мне приходится разбираться самому.

– Все равно не понимаю. – Сара пожала плечами. – В твоей голове – или в душе, а то и там, и там – осталась незаживающая рана. И тем не менее за все эти пятнадцать или шестнадцать лет ты так и не захотел узнать, что же заставило тебя так мучиться.

– Да не то чтоб не хотел... Но теперь, мне кажется, лучше просто об этом забыть. Слишком давно это было – и слишком глубоко в памяти похоронено.

Сара поджала губы.

– Но это же очень опасно.

– Опасно? – не понял Цкуру. – Чем же?

– Как бы ни хоронили мы свои воспоминания... – она посмотрела на него в упор, – историю своей жизни не сотрешь. И как раз об этом лучше не забывать. Историю не стереть и не переделать. Это все равно что убить самого себя.

– И почему мы об этом заговорили? – пробормотал Цкуру как можно небрежней, словно бы наполовину себе самому. – Эту тему я никогда ни с кем не обсуждал, да и теперь не собирался.

Сара чуть заметно улыбнулась.

– Видимо, теперь понадобилось обсудить? И даже острее, чем ты думаешь?

В то лето, вернувшись из Нагои в Токио, Цкуру постоянно ловил себя на странном чувстве, будто все его тело полностью перестроилось. У знакомых предметов вокруг словно исказились цвета, как будто он смотрел на них через светофильтры. Он стал слышать звуки, которых раньше не различал, и перестал различать то, что раньше прекрасно слышал. От любого движения делалось так неуютно, словно изменилось земное притяжение.

Пять месяцев после приезда в Токио он жил на пороге смерти. Заполз в свою крошечную, но бездонную черную нору и жил там в полном одиночестве и постоянной опасности заснуть и провалиться в Ничто. Но страшно ему не было. Он лишь думал: как это все-таки просто – туда провалиться.

Вокруг его норы простиралась, докуда хватало глаз, земля с расколотыми каменными валунами. Ни капли воды, ни единой травинки. Ни цвета, ни света. Ни солнца, ни звезд, ни луны. И никаких направлений. Только странные сумерки да бездонная мгла, сменявшие друг друга в свой черед. Существование на самой границе сознания. Хотя были в его норе и странные обитатели. В сумерках к нему прилетали птицы с острыми, как ножи, клювами и безжалостно выклевывали из него куски мяса. Но когда наступала мгла, птицы исчезали куда-то, и нора в полной тишине наращивала на дыры в его теле новую плоть.

Из чего же состоят эти новые куски плоти, Цкуру не понимал. Какие-то тени стайками собирались вокруг него и откладывали такие же тени яиц, которыми и заполняли в нем дыры. А потом мгла отступала, в сумерках опять прилетали птицы – и вновь выдирали из него мясо кусок за куском.

В то время он вроде был собой – а вроде и нет. Да, это он, Цкуру Тадзаки – и в то же время кто-то другой. Когда боль становилась невыносимой, он отделялся от своего тела. И уже снаружи, с небольшого расстояния наблюдал, как Цкуру Тадзаки корчится в муках. Если собрать волю в кулак, такой фокус проделать несложно.

И сейчас еще нет-нет да и просыпается в нем эта способность – отделяться от своего тела. И относиться к своей боли так, словно ею мучается кто-то другой.

Они вышли из бара, и Цкуру предложил Саре чего-нибудь перекусить. Да хоть пиццы.

– Есть пока не хочется, – сказала Сара.

– Тогда, может, ко мне? – пригласил он.

– Прости, но я сегодня немного не в том настроении, – с трудом, но твердо ответила она.

– Это потому, что я болтал всякую чушь? – уточнил Цкуру.

Она тихонько вздохнула.

– Да нет. Просто хочу немного подумать. Про всякое-разное. Поэтому сегодня, если ты не против, я поеду домой.

– Да, конечно, – сказал Цкуру. – Я так рад, что мы снова встретились. Жаль только, разговор получился какой-то нерадостный...

Несколько секунд Сара молчала, поджав задумчиво губы. Потом решила:

– Слушай. А давай ты меня снова куда-нибудь пригласишь? Ну то есть, конечно, если сам захочешь...

– Конечно, давай. Если я тебе не в тягость.

– Ну что ты.

– Вот и отлично, – сказал Цкуру. – Я тебе напишу.

Расстались они у входа в метро. Она поднялась на эскалаторе и села на кольцевую Яманотэ, он спустился по лестнице на линию Хибия, и оба вернулись каждый в свое жилище. Думая каждый о своем.

О чем думала Сара, он, конечно же, знать не мог. А о чем думал он сам, ей лучше не знать. Ибо есть мысли, которых вслух не высказывают, их следует держать при себе. Именно такие мысли и занимали голову Цкуру в метро по дороге домой.

3

За эти полгода скитаний в расщелине между жизнью и смертью Цкуру сбросил аж семь кило. Что совсем не удивительно, ведь он почти ничего не ел. Пухловатые прежде щеки ввалились, укоротить ремень оказалось недостаточно, пришлось покупать новые брюки на пару размеров меньше. Ребра стали похожи на прутья дешевой клетки для птиц. Спина искривилась, плечи ссутулились. Похудевшие ноги напоминали конечности цапли. Да это же тело дряхлого старика, подумал он, увидев себя однажды в зеркале нагишом. Или даже тело умирающего...

Ну что ж, если похож на умирающего – ничего не поделаешь, сказал он своему отражению в зеркале. Ведь в каком-то смысле ты и правда на грани смерти. Все равно что опустевший кокон, из которого уже вылупилось насекомое, – зацепился за ветку, но готов согнуться из этого мира навеки при первом дуновении ветерка. И все-таки это жуткое сходство потрясло его до глубины души. Застыв перед зеркалом, он разглядывал свое голое отражение, как телезритель, не способный оторваться от новостей, в которых показывают землетрясение или наводнение в какой-нибудь далекой стране.

И вдруг его поразила жуткая мысль: а может, он вообще уже мертв? Что, если прошлым летом, когда те четверо отреклись от него, юноша по имени Цкуру Тадзаки на самом деле испустил дух? Осталась одна внешняя оболочка, которая кое-как продолжает двигаться и за минувшие полгода основательно изменилась? Ведь и лицо его, и тело уже совсем другие, да

и глаза по-иному глядят на мир. Холодок от ветра на коже, журчанье воды в реке, свет, прорывающийся меж облаков, оттенки распускающихся цветов по весне – все теперь не такое, как прежде. Так, может, он уже переродился в некое иное существо? Тот, кто отражается в зеркале, вроде похож на Цкуру Тадзаки, но только на первый взгляд. Внутри он уже совершенно другой, хотя и называет себя Цкуру Тадзаки удобства ради. Пока называет – просто потому, что другого имени еще не придумал.

В ту ночь ему снился странный сон, в котором он мучился жуткой, неопишуемой ревностью. Настолько ярких, реалистичных снов он не видел уже очень давно.

На самом деле Цкуру очень плохо представлял себе, что это за штука – ревность. То есть, конечно, головой понимал. Например, то, что чувствуешь, когда кто-нибудь, не напрягаясь (как тебе кажется), получает должность, требующую ума и таланта, до которых тебе далеко. Или, скажем, когда узнаешь, что женщину, от которой ты без ума, по ночам обнимает другой. Зависть, досада, обида, депрессия и бессильная злость.

Однако сам Цкуру ничего подобного в жизни не испытал. Чужих ума и таланта себе никогда не желал, от страсти с ума не сходил, ни в кого не влюблялся – и никогда никому не завидовал. Находились, конечно, и у него причины для недовольства собой. Были и свои недостатки. Сам написал бы их целый список. Может, и не очень длинный, но уж двумя-тремя пунктами точно бы не ограничился. Но все эти недовольства с недостатками он держал при себе. Ни к кому не приставал и ни от кого ничего не требовал. По крайней мере, до тех самых пор.

И тем не менее в том странном сне он нестерпимо желал какую-то женщину. Кого – непонятно. Но она там присутствовала. Она могла отделять свою душу от тела. И говорила Цкуру: тебе я могу отдать только что-то одно. Либо душу – либо тело, но никак не все вместе. И хочу, чтобы ты выбрал прямо сейчас, ибо то, что останется, я отдам кому-нибудь еще. Но Цкуру хотел эту

женщину всю, целиком – и не мог уступить половину ее другому мужчине. Это было бы слишком невыносимо. Он хотел ответить ей: «Ну, тогда мне не нужно от тебя ничего», – но тоже не мог. И увяз, как в болоте, – ни туда ни сюда.

Он чувствовал такую страшную боль, словно чьи-то огромные руки выжимали его как тряпку. Разрывая плоть и размалывая кости. Внутри у него все пересохло – так, словно каждую клетку тела поджаривали на сковородке. Злость сотрясала его. Злость на то, что он должен отдать кому-то ее половину. Эта злость превращалась в тягучую жидкость, которая вытекала из мозга его костей. Легкие словно взбесились, сердце колотилось, точно двигатель от выжатой до упора педали газа. А вскипающая темная жидкость растекалась по всем уголкам его тела.

Когда он проснулся, его трясло. Очень долго не мог понять, что это всего лишь сон. Стянул с себя взмокшую пижаму, попробовал вытереть пот. Но сколько ни старался, все тело оставалось липким и скользким. И тут наконец он осознал, а точнее – почувствовал кожей: вот она, ревность. Жгучая, неодолимая ревность к тому, кто хочет отнять у Цкуру то ли тело любимой женщины, то ли ее душу – то ли, если удастся, и то, и другое сразу.

Именно ревность, насколько он понял из этого сна, – самая безысходная тюрьма на свете. Ибо в эту тюрьму узник заключает себя сам. Никто не загоняет его туда. Он сам входит в свою камеру-одиночку, сам запирается, а ключ выкидывает через прутья решетки. И о том, что он там, не знает ни одна живая душа. Разумеется, если б он решился, то мог бы выйти оттуда в любую секунду. Ведь тюрьма эта находится в самой глубине его сердца. Но решиться-то он и не может: сердце затвердело, как камень. Вот что это такое – настоящая ревность.

Он достал из холодильника апельсиновый сок и выпил три стакана один за другим – горло пересохло до боли. Затем сел за стол и, глядя на рассвет за окном, попробовал успокоиться. Что же мог означать тот сон? Предсказание? Предупреждение? Уж не сам ли я послал его себе? Может, это будущий я, которого я даже не знаю, проламывает скорлупу –

и вылупляется, как безобразное чудище, отчаянно пытаюсь выбраться на свежий воздух?

Именно после этого, как позже отметил Цкуру, он перестал желать себе смерти. Разглядывая себя голого, он признал, что его отражение в зеркале – никак не он сам. Что в ту ночь он впервые пережил настоящие муки ревности (или что это было). И когда наступил рассвет, крошечная мгла всех этих пяти месяцев, проведенных у бездны смерти, наконец-то осталась в прошлом.

Видимо, именно в том странном сне жгучая ревность пронзила его душу, наткнулась на тягу к смерти, столь упорно повелевавшую им, и прогнала эту тягу прочь. Так сильный западный ветер прогоняет с неба угрюмые тучи – вот что полагал Цкуру.

И остались только тихие воспоминания, больше похожие на размытые миражи. Бесцветные – и спокойные, как море в штиль. Он сидел один в пустом старом доме и вслушивался в гулкие звуки огромных напольных часов, отмерявших секунду за секундой. Не раскрывая рта и не отводя глаз, просто глядел на ползущие стрелки. Завернувшись в эти воспоминания, как в тонкую прозрачную пленку, и опустошив свое сердце, он сидел и час за часом неумолимо старел.

Постепенно Цкуру начал более-менее нормально есть. Покупать свежие продукты, готовить себе простую здоровую пищу. Вот только снова набрать утраченный вес почти не удавалось. Похоже, за эти полгода его желудок совсем ужался. Стоило съесть хоть немного лишнего, тут же тошнило. А еще рано по утрам он стал плавать в университетском бассейне. Все-таки мышцы вконец одрябли, и даже по лестнице он уже не мог подняться без одышки, так что пришлось приводить себя в форму. Цкуру купил себе новые плавки, очки для ныряния и каждое утро проплывал кролем километр, а то и полтора. А кроме того, регулярно ходил в спортзал и молча качал мышцы на тренажерах.

Здоровое питание и занятия спортом принесли свои плоды, и еще через пару месяцев жизнь Цкуру Тадзаки вернулась в обычное русло. Он окреп, хотя фигура прежней не стала, осанка выровнялась, на лицо возвратился здоровый цвет. Иногда он даже просыпался утром с эрекцией, чего с ним не случалось уже давно.

Как раз тогда в Токио приехала его мать. Встревожившись, она решила проведать сына: в последнее время он говорил по телефону как-то странно, а на новогодних каникулах даже не приехал домой. Она просто лишилась дара речи, увидев, как Цкуру преобразился всего за несколько месяцев. Впрочем, ее вполне устроило его объяснение – нормальная, мол, акселерация в его годы, и ему требуется сейчас только одно, одежда другого размера. Мужает мальчик, решила мать и успокоилась. Сама она росла с сестрой, а к рождению Цкуру вскормила уже двух дочерей, и как воспитывать мальчиков, особого представления не имела. А потому с легким сердцем привела сына в универмаг и передела во все новое – в основном от ее любимых «Брукс Бразерз». А старые его вещи выкинула или отдала в благотворительный фонд.

Внешность его и правда изменилась до неузнаваемости. От круглого, правильного лица ничем не примечательного юноши не осталось вообще ничего. Из зеркала на него смотрел молодой мужчина, чьи скулы словно вытесали стамеской. Глаза горели странным огнем – то был взгляд одинокого человека, который жаждет понять, куда ему следует двигаться. Щетина вдруг стала гуще, и сбривать ее теперь приходилось чуть не каждое утро. Волосы же он решил отрастить подлиннее.

Новый облик не вызывал у него самого ни особой симпатии, ни какой-либо неприязни. Очередная временная маска для выживания в обществе. И все же от того, что теперь он выглядел по-другому, ему было легче.

Как бы там ни было, юноша, которого когда-то звали Цкуру Тадзаки, умер. Задержал дыхание, чтоб раствориться в бурлящей мгле, и похоронил себя в тесной яме на лесной опушке. Тихо и незаметно, перед самым рассветом,

когда люди еще спят глубоким сном. И остался навек в той могиле без надгробья. А тот, кто сейчас стоял перед зеркалом и продолжал дышать, – это новый «Цкуру Тадзаки», совершенно иной как снаружи, так и внутри. Только знал об этом пока только он сам. И рассказывать никому не собирался.

Он по-прежнему ездил на какие-нибудь станции, делал зарисовки, а также ходил на лекции в вузе. По утрам просыпался, принимал душ, мыл голову, после еды обязательно чистил зубы. Каждое утро убирал постель, гладил рубашку, стараясь не оставлять себе ни минуты свободного времени. Каждый вечер по два часа перед сном читал книги. В основном – исторические или биографии. Все эти привычки завелись у него чуть ли не с детства и много лет помогали ему жить. Только он уже не верил в нерушимые союзы – и больше не чувствовал теплоты под названием chemistry.

Каждый день он вставал перед зеркалом в ванной и разглядывал собственное отражение. И постепенно освоился в «новом себе» (точнее – в «себе измененном»). Примерно так же, как осваивают иностранный язык, зазубривая новую грамматику.

А потом у него появился друг. Случилось это в июле, почти через год после того, как от него отреклись те четверо из Нагои. Парень этот учился в том же вузе, на два курса младше. Познакомились они в университетском бассейне.

Как и Цкуру, тот парень ходил туда плавать по утрам. Вскоре они привыкли друг к другу и стали общаться уже накоротке. Поплавав, оба вместе одевались, а то и завтракали в кафе. Учился он на физфаке. Разговоры будущих физика и инженера, пусть даже из одного вуза, поначалу напоминали беседы между представителями разных цивилизаций.

– И чем же ты занимаешься на своем стройфаке? – спрашивал студент-физик.

– Строю станции.

– Станции? Какие станции?

– Железнодорожные. Не орбитальные же.

– Но почему именно железнодорожные?

– Потому что они нужны людям, – отвечал Цкуру так, словно это разумелось само собой.

– Заня-а-атно, – с интересом тянул физик. – Станции нужны людям... Никогда не задумывался.

– Но ведь они и тебе нужны. Как бы ты без станции садился на поезд?

– На поезд без них, конечно, не сесть, это да... Но все-таки, э-э... Я даже не представлял, что на свете есть люди, одержимые их строительством.

– Кто-то придумывает музыку для струнных квартетов, кто-то выращивает помидоры и салат, – сказал ему тогда Цкуру. – Так что и для строителей

станций дело найдется. А сам я не так уж и «одержим». Просто люблю иметь дело с чем-то конкретным.

– Прости за бестактность, но... найти в жизни что-нибудь конкретное и по-настоящему этим интересоваться – уже само по себе достижение, разве нет?

Цкуру подумал, не издеваются ли над ним, и взглянул в простодушное лицо собеседника. Но тот, похоже, и в самом деле так думал. Всерьез и без тени сомнения.

– Ты, Цкуру, наверное, любишь мастерить? Вот и имя у тебя такое... созидательное.

– Ну да, – ответил Цкуру. – Всегда любил что-нибудь конструировать.

– А вот у меня не так. Я сроду ничего реального создавать не умел. В школе на уроках труда никакие поделки у меня не получались. Даже из детского конструктора, где все расписано по шагам, не мог ничего собрать как надо. Про всякие абстракции размышлять – вот это по мне, никогда не устану. А вот создать ничего не способен. Еду, правда, готовить люблю; но стряпня, сам понимаешь, – процесс скорее разрушения, а не созидания... В общем, таким неумехам, как я, на стройфаке не место.

– Чем же ты хочешь заниматься?

Приятель немного подумал.

– Не знаю. Я, в отличие от тебя, не могу сказать – вот, мол, хочу заниматься конкретно тем или этим. Больше всего люблю просто думать как можно глубже. Свободные мысли в чистом виде. И все. Хотя думать свободные мысли в чистом виде – это в каком-то смысле все равно что создавать пустоту...

– Ну, немного создателей пустоты в этом мире тоже не помешает.

Приятель рассмеялся.

– Если все начнут вместо помидоров и салата создавать пустоту – боюсь, в этом мире будет не очень уютно жить!

– Наши мысли – как бороды, – сказал Цкуру. – У мужчин их не бывает, пока не вырастут. Не помню, кто это сказал...

– Вольтер, – отозвался приятель-младшекурсник. И, потирая гладкий подбородок, улыбнулся светло и открыто: – Но ко мне эта фраза неприменима. Бороды пока не выросло, зато думать всякие мысли с детства люблю...

Кожа на его лице и правда была как у ребенка. Брови – тонкие, но густые, а уши похожи на морские ракушки.

– Наверно, Вольтер все же говорил не о мыслях как таковых, а о рассуждениях, – сказал Цкуру.

Приятель чуть заметно кивнул.

– А рассуждения приходят от страданий. И ни возраст, ни борода тут ни при чем.

Звали его Хайда[9 - Ха?й-да (букв., яп.) – «серое поле»]. Фумиа?ки Ха?йда. Когда он представился, Цкуру тут же подумал: «Ну вот, еще одна цветная фамилия! Mister Gray...» Хотя, конечно, серый – это скорее отсутствие цвета, а не наличие.

Оба довольно замкнутые по характеру, они болтали так все увлеченней и вскоре подружились. Встречались каждое утро в одно и то же время и вместе плавали. Оба – кролем на длинные дистанции, но Хайда сначала – немного быстрее. С детства он ходил в секцию плавания и приучился грести так, чтобы не расходовать силы зря. Его лопатки порхали над водой, как крылья бабочки. Впрочем, он постоянно объяснял Цкуру, как лучше двигаться, и вскоре они уже плавали с одинаковой скоростью. А разговоры, поначалу сводившиеся только к технике плавания, превратились в беседы на самые разные темы.

Хайда был невысоким и симпатичным. Лицо – узкое, слегка вытянутое, точно у древнегреческих статуй, – отличалось интеллектом и элегантностью, которое после нескольких встреч начинаешь воспринимать как нечто совершенно естественное. Ничего общего с кукольными красавчиками, чья смазливость бросается всем в глаза.

Коротко стриженный, вечно какой-то слегка перекрученный, в одних и тех же светлых парусиновых брюках, этакий небрежно-расслабленный. При этом во что бы ни одевался, все вещи смотрелись на нем очень естественно. Больше всего любил книги, хотя, как и Цкуру, современной прозы почти не знал – предпочитал труды по философии или классику. Еще он ценил драмы – древнегреческие и Шекспира. И отлично разбирался в театрах но и бунраку[10 - Но (яп. мастерство, умение, талант) – японское театральное драматическое искусство с более чем шестивековой историей. Сцену театра венчает крыша, под которой выступает актерский ансамбль в сопровождении музыки с песнопениями. В современный репертуар но входят около 250 пьес. Бунраку (букв. развлечение историями) – традиционная форма японского кукольного театра в сочетании с народным песенным сказом дзёрури. Пьесы исполняют под аккомпанемент сямисэна. Зарождение жанра относится к концу XVI – началу XVII в.]. Родом он был из префектуры А

кита, светлокожий, с длинными пальцами. Алкоголь, как и сам Цкуру, переносил с трудом, зато отличал на слух Мендельсона от Шумана (чем Цкуру похвастать не мог). Страшно застенчивый – во всякой компании больше двух человек любил оставаться незаметным. Тем загадочнее для такой натуры смотрелся глубокий шрам на шее – длиной сантиметра четыре, как от ножа.

В Токио Хайда приехал той весной и поселился в студенческом общежитии недалеко от вуза, но подружиться пока ни с кем не успел. Поняв, что у них много общего, они начали видеться чаще, и Хайда стал появляться у Цкуру в гостях.

– Шикарное логово для простого студента! – с любопытством заметил он, зайдя в гости впервые.

– Отец в Нагое заведует риелторской фирмой, у которой несколько квартир в Токио, – объяснил Цкуру. – Пока они пустуют, меня пускают пожить. До меня здесь жила старшая сестра. Закончила вуз – съехала, теперь живу я. Все на контору оформлено.

– Так твои предки – богачи?

– Да как сказать... Богачи, не богачи – я и сам не пойму, если честно. Да и отец вряд ли сможет сказать, сколько он стоит на самом деле, пока не соберет за одним столом бухгалтера, адвоката, аудитора и консультанта по инвестициям. Но пока не бедствует, дает вот мне здесь пожить. И на том спасибо.

– Но тебя, похоже, этот бизнес не привлекает?

– Нисколечко. В таком бизнесе нужно постоянно что-то передвигать: то справа налево, то слева направо – большие деньги, огромные суммы. У меня

ко всей этой возне душа не лежит. Все-таки я – не отец. Мне куда радостней строить станции, пускай это не так прибыльно.

– Ограничиваешь интерес? – уточнил Хайда и широко улыбнулся.

* * *

С этой квартиры – элитной «двушки» в районе Дзюгао?ка – Цкуру так никуда и не съехал. Окончил вуз и поступил в солидную фирму с головным офисом на Синдзю?ку, а жить остался там же. Когда ему стукнуло тридцать, отец умер, и квартира досталась Цкуру в наследство. Похоже, отец с самого начала планировал завещать эту недвижимость сыну и переоформил ее на имя Цкуру, ничего ему об этом не сообщив. Риелторский бизнес отца унаследовал муж старшей сестры, и Цкуру преспокойно строил дальше свои станции, а в Нагою почти не возвращался.

Приехав на похороны отца, он смутно надеялся, что хоть кто-нибудь из четверых друзей навестит его с соболезнованиями. И еще думал: если это случится, какими словами их встретить? Как с ними общаться? Но никто не появился. Цкуру воспринял это как с обидой, так и с облегчением. «Неужели все вот так и закончилось?» – думал он. Больше в прошлое не вернуться. Каждому из нас теперь за тридцать. Хватит уже мечтать о нерушимом братстве людей.

То ли в журнале, то ли в газете Цкуру как-то вычитал, что по статистике большинству людей на свете не нравятся их имена. Сам он, впрочем, принадлежал скорее к счастливому меньшинству. По крайней мере, никогда не сожалел о том, как его зовут. Да и представить себе жизнь под другими именем и фамилией у него все равно толком не получалось.

Официально его звали Цкуру Тадзаки, но иероглиф «цкуру» читался не по правилам, и его приходилось прописывать каной[11 - Кана? – слоговая азбука, одна из составляющих японской письменности наряду с китайскими иероглифами. В отличие от иероглифов, которыми изображают корневые значения слов, буквы каны показывают только то, как слова звучат. Современная кана состоит из 100 знаков и разделяется на хира?гану и ката?кану (для записи японских или иностранных слов соответственно)]. Большинство знакомых так и думало, что иероглифа в его имени нет. А по-китайски тот иероглиф читался «са?ку», отчего мать с сестрой так и звали его – «Саку» или «Саку-тян». Для удобства.

Назвать первого сына глаголом «создавать» отец решил задолго до рождения самого Цкуру, поскольку сам был человеком весьма далеким от созидания чего-либо конкретного. А может, его посетило нечто вроде Небесного Откровения. Шарахнуло неслышным громом, опалило невидимой молнией, и та выжгла у него в подсознании: «Назови своего ребенка «Цкуру». Впрочем, об этом отец никогда не рассказывал – ни самому Цкуру, ни кому бы то ни было еще.

Как вспоминала мать после тех похорон, очень долго отец не мог выбрать, каким из двух иероглифов «цкуру» это имя лучше записывать. Оба знака по-японски читаются одинаково, но на письме создают разное впечатление. Второй – по-китайски «со» – ближе к высокопарному «созидать, творить». Именно его сперва предложила мать, но отец поломал голову еще несколько дней и в итоге остановился на приземленном «создавать, производить». Он считал, что знак «созидать» накладывает на человека более тяжкое бремя жизни. А «создавать» – читается так же, но к великим подвигам не обязывает, и с ним человеку живется весело и легко.

– Как бы там ни было, имя для тебя отец обдумывал очень серьезно, – подчеркнула мать. – Все-таки первый сын...

И хотя отношения Цкуру с отцом никогда не отличались теплотой, воле родителя приходилось повиноваться. Да и сам он считал, что «создавать» подходит ему куда лучше. Ибо в своей натуре ничего особенно творческого не отыскивал, хотя насколько это облегчило ему «бремя жизни», судить

не брался. Может, и правда, с «созидательным» именем ему жилось бы несколько иначе. Но вот чтоб тяжелее?..

Так он и стал Цкуру Тадзаки. А до того был безымянным, хаотичным ничтожеством, куском розового мяса весом в три кило, прооравшим всю ночь напролет. Но уже на рассвете ему дали имя. После чего у него включился мозг, заработала память, и он наконец осознал себя. Имя стало отправной точкой для всей его дальнейшей жизни.

Отца звали То?сио[12 - То?си-о (яп.) – распространенное мужское имя, букв. – «ценный, выгодный». Иероглифы «Тосио Тадзаки» ассоциируются с «выгодным мужчиной со множеством разных утесов (достоинств)»]. Лучшего имени для такого человека придумать сложно. Тосио Тадзаки – Человек, Который Из Всего Извлекает Прибыль. Из нищетограда без иены за душой превратился в крупного торговца недвижимостью, на волне экономического бума 90-х добился успеха и умер от рака легких в шестьдесят четыре года. Но это случилось гораздо позже. Когда Цкуру познакомился с Хайдой, отец был еще жив и, выкуривая за день с полсотни сигарет без фильтра, упорно и агрессивно скупал и перепродавал квартиры в элитных токийских высотках. Японский «мыльный пузырь» уже лопнул, но отец умудрился предвидеть все серьезные риски заранее, прибыль распределил грамотно и не разорился. И даже его легкие пока оставались в порядке.

– А мой отец преподает философию в универе, в Аките, – рассказал Хайда. – Тоже любитель всяких абстракций. Вечно слушает классику. По уши в книгах, которые никто, кроме него, не читает. С деньгами обращается как дитя малое, только получит – сразу тратит на книжки и пластинки. Ни о семейном бюджете, ни о накоплениях вообще не думает. Постоянно в облаках витает. Я только потому и смог учиться в Токио, что этот вуз недорогой и общага бесплатная.

– Значит, учиться на физика выгодней, чем на философа? – уточнил Цкуру.

– После выпуска, что у тех, что у других, примерно одинаковые дыры в карманах. Нет, конечно, если Нобелевку получишь – дело другое... – ответил Хайда и опять улыбнулся.

Ни братьев, ни сестер у Хайды не было. На друзей ему не везло; с детства он любил только собак и классическую музыку. В общежитии слушать классику (а тем более держать собак) было негде, а потому он частенько приходил к Цкуру с пачкой компакт-дисков и слушал все это у него. Большинство музыки он брал напрокат в универовской библиотеке, хотя иногда приносил свои старые виниловые пластинки. У Цкуру дома был очень хороший проигрыватель, но все диски, оставшиеся от сестры, ограничивались попсой вроде Барри Манилоу и «Пет Шоп Бойз», так что сам он вертушку почти не включал.

Хайда же больше всего любил классику – инструментальную, камерную или оперную. Произведения, в которых беспрестанно гремит оркестр, его не интересовали. И хотя обычно Цкуру к классике (да и к музыке в целом) был равнодушен, слушать что-то вместе с Хайдой ему нравилось.

Однажды тот поставил какую-то фортепьянную пьесу, и Цкуру вдруг поймал себя на том, что уже слышал это раньше – и не однажды. Что за произведение, кто написал, он понятия не имел. Тихая печальная тема сперва задается медленными, отрывистыми аккордами, а потом переходит в череду вариаций. Оторвав взгляд от книги, Цкуру спросил, что сейчас звучит.

– Ференц Лист, «Le Mal du Pays», – ответил Хайда. – Цикл «Годы странствий». Из его Первой тетради, когда он еще в Швейцарии жил.

– Рё-мару... дзю..?[13 - В японском языке нет звука «л», и большинство японцев инстинктивно заменяет его на «р».] – не понял Цкуру.

– «Лё маль дю пэи?», – повторил Хайда. – Это по-французски. Чаще всего переводят как «Ностальгия» или «Меланхолия». Но если разобраться, это скорее «неизъяснимая тоска, охватывающая сердце в чистом поле». Непростое название, трудно перевести адекватно...

– Одна моя знакомая часто это играла, – сказал Цкуру. – Одноклассница в школе.

– Я тоже люблю эту вещь, – кивнул Хайда. – Чуть ли не с детства. Хотя о ней мало кто знает. А эта твоя одноклассница хорошо играла?

– Да я в музыке не спец, судить не берусь. Но когда слушал – чувствовал, что красиво. Как бы лучше сказать... С тихой грустью – но не сентиментально.

– Если ты так чувствовал – видимо, играла хорошо, – снова кивнул Хайда. – Технически эта пьеса кажется простенькой, но в ней очень коварные интонации. Если просто играть по нотам, слушать неинтересно. И наоборот, если слишком манерно «выпиливать» – звучит дешёвкой. Даже то, как давить на педали, меняет весь характер пьесы.

– А это кто играет?

– Лазарь Берман, русский пианист. Так исполняет Листа, как художник пейзажи пишет. Фортепьянные пьесы у Листа принято считать слишком техничными, неглубокими. Но вот, пожалуйста: среди них попадаются и такие, как бы с вывертом. А если внимательно переслушать все, можно понять, сколько глубины таится за этой внешней техничностью. Особенно здесь, в «Тоске по родине». Среди современных пианистов почти никто не умеет исполнять Листа правильно и красиво. На мой вкус, из сравнительно недавних это Берман, а из совсем старых – только Клаудио Аррау. И больше никто...

Заговорив о любимой музыке, Хайда уже не мог остановиться. Он пустился перечислять особенности исполнения Берманом музыки Листа, но Цкуру уже почти не слушал. В памяти его проступила фигурка Белой, игравшей когда-то эту мелодию. Явственно, объемно – будто само Время потекло вспять и он вернулся в те прекрасные минуты полузабытого прошлого.

Вот рояль «Ямаха» в гостиной у нее дома. Словно в гармонии с ее строгостью, всегда настроен безупречно. На лакированной поверхности – ни пятнышка, ни отпечатка пальца. Лучи послеобеденного солнца на полу. Тени кипарисов в садике за окном. Кружевная занавеска подрагивает от ветра. На столе – чашки с чаем. Ее черные волосы, собранные в хвост на затылке. Взгляд, сосредоточенный на странице с нотами. Длинные изящные пальцы на клавишах. Ступни, неожиданно сильно и точно управляющие педалями. Белые икры – словно из фарфора с глазурью. Когда ее просили что-нибудь сыграть, она часто исполняла именно эту мелодию. «Лё маль дю пэи»... «Неизъяснимая тоска, охватывающая сердце в чистом поле». Ностальгия. Или меланхолия.

Прикрыв глаза, Цкуру вслушивался в музыку, и внезапно что-то внутри скрутило его так, что перехватило дыхание. Словно незаметно для себя он вдохнул облачко пыли. Закончилась эта мелодия, началась следующая, а он все сидел, поджав губы, не в силах отогнать видение прочь. Хайда смотрел на него пристально.

– Если не возражаешь, пускай эти диски побудут пока у тебя, – предложил он наконец, пряча пластинку в конверт. – Все равно у меня в общаге их негде слушать.

Так три пластинки в одной коробке перекочевали в жилище Цкуру, где и стоят до сих пор. На одной полке с Барри Манилоу и «Пет Шоп Бойз».

А еще Хайда отлично готовил. И в благодарность за то, что Цкуру давал ему слушать музыку, он частенько приносил с собой купленные по дороге продукты, шел на кухню и готовил еду. Кастрюль, сковородок и прочей утвари сестра оставила целый набор. Вместе с которым он унаследовал необходимость отвечать на звонки ее бывших парней – всякий раз одно и то же: «Простите, но моя сестра здесь больше не живет». Так что два или три раза в неделю Цкуру и Хайда еще и ужинали вместе. Слушали музыку, болтали о чем-нибудь – и поедали то, что приготовил гость. Обычно Хайда делал что-нибудь на скорую руку, но по выходным, когда больше времени, старался вовсю. Но вкусно было всегда. Чем-чем, а кулинарным талантом природа его наградила. Будь то банальный омлет, или простой суп мисо, или сливочный соус, или испанская паэлья – за что бы ни брался, все получалось мастерски и очень изысканно.

– Оставлять тебя на физфаке – расточительство, – подшучивал Цкуру. – Да ты просто обязан открыть свой ресторан!

– А что? Неплохая мысль, – смеялся Хайда. – Но я не люблю надолго привязываться к одному месту. Хочется жить свободно: куда захотел – туда и пошел...

– Но так жить очень непросто.

– Непросто, ты прав. Но я для себя уже это решил. Буду жить свободным. Готовить я, конечно, тоже люблю, но вертеться на кухне, как на работе, у меня желания нет. Иначе я наверняка начну кого-нибудь ненавидеть.

– Кого?

– «Повар ненавидит официанта, но оба ненавидят посетителя», – ответил Хайда. – Так писал Арнолд Уэскер в пьесе «Кухня». Человек, у которого отняли свободу, обязательно станет кого-нибудь ненавидеть. Разве нет? А я так жить не хочу.

– Ты хочешь жить ни к чему не привязанным, хозяином своих мыслей?

– Именно так.

– Но быть хозяином собственных мыслей – это ужас как непросто.

– Быть хозяином своих мыслей – это все равно что быть хозяином своего тела и выходить из него, когда тебе нужно. Просто покидаешь свою клетку, отрицаешь свою физическую оболочку, когда уже совсем невмоготу, сбрасываешь ее, точно оковы, – и запускаешь логику в свободный полет. И позволяешь этой логике жить своей жизнью. Вот главный принцип любой медитации.

– У-у, как все сложно...

Хайда покачал головой.

– Вовсе нет! Конечно, смотря о чем думаешь, но в принципе – ничего сложного. Очень многие и делают это неосознанно, просто чтобы не сойти с ума. Хотя сами этого не замечают.

Цкуру задумался. Ему нравились абстрактно-философские лабиринты, по которым они с Хайдой то и дело плутали. В подобных беседах обычно молчаливый Цкуру вдруг становился чуть не болтуном, так сильно его цепляли слова этого младшекурсника. Ничего подобного с ним до сих пор не случилось. Даже в «неразлучной пятерке» он почти всегда был слушателем.

– Но мне кажется, – сказал Цкуру, – без умения делать это осознанно – настоящим хозяином своих мыслей не станешь...

– Именно, – кивнул Хайда. – Очень похоже на умение видеть сны, которые тебе хочется. Обычным людям такое не под силу.

– Но ты полагаешь, что смог бы научиться?

– Возможно, – ответил Хайда.

– Боюсь, на физфаке политеха такому не учат...

Хайда рассмеялся.

– А я и не рассчитываю обучиться этому в вузе. Мне нужны только физическая свобода и время. И ничего больше. Для одного лишь определения, что такое «мысль в голове», все эти академики наворачивают кучу научных терминов. А это уже никуда не годится. Ведь созидание – имитация свободного, ничем не связанного мыслительного процесса. Так считал реалист Вольтер.

– И ты с этим согласен?

– У любой вещи или явления есть свои рамки. Точно так же они есть у мысли. Самих рамок бояться не стоит. Как не стоит и бояться их разрушать. Разрушение рамок – первичное условие для свободы. Уважение к рамкам – но и ненависть к ним же. А что при этом нужно для жизни – это уже вторично. Вот и все.

– Тогда у меня вопрос.

– Какой?

– В самых разных верованиях большинство пророков получают Откровение через глубокий транс или экстаз. Так?

– Так.

– Но это происходит уже за рамками свободной воли, так? Ведь тогда Пророк – пассив, а Откровение – актив...

– Так.

– В итоге Откровение превосходит рамки Пророка – и становится вездесущим, так?

– Именно.

– То есть без отрицания первичного не будет и вторичного, верно?

Хайда молча кивнул.

– Вот это и непонятно. В чем же тогда ценность свободы воли?

– Замечательный вопрос, – сказал Хайда и улыбнулся, точно кошка, дремлющая на солнцепеке. – На него я ответить пока не могу.

Скоро Хайда начал оставаться у Цкуру на ночь по выходным. Они болтали допоздна, потом Хайда стелил себе на диване в гостиной и засыпал. А наутро

варил обоим кофе и жарил омлет. К кофе он относился очень привередливо, всегда приносил с собой ароматные, тщательно прожаренные кофейные зерна и маленькую электрическую кофемолку. Другого столь нищего студента, повернутого на вкусе и запахе кофе, не нашлось бы, наверное, в целом Токио.

Своему новому другу Цкуру рассказывал о себе много и откровенно. Вот только истории с четырьмя бывшими друзьями в Нагое старательно избегал. Даже заикнуться об этом не мог. Слишком глубокую душевную рану он тогда получил, и слишком свежими еще оставались воспоминания.

И все-таки в разговорах с Хайдой ему удавалось-таки забыть о той страшной потере. Впрочем, нет, забыть – не то слово. Когда все лучшие друзья разом отворачиваются от тебя, боль такого удара остается в душе навсегда. Просто теперь эта боль отступала время от времени, будто вода при отливе. То просто спускалась до щиколоток, то уходила дальше – так, что и не разглядеть. И тогда он физически ощущал, пусть ненадолго, как Токио, будто новорожденный клочок суши, вдруг обнажается под ним, и он наконец-то пускает корни. В нем зарождается какая-то новая жизнь, пусть одинокая и неприметная. Те жуткие дни в Нагое отходят в прошлое, и Цкуру начинает смотреть на них со стороны. И это, несомненно, большое достижение, все благодаря его новому другу Хайде.

А тот по любому вопросу имел свое мнение – внятное и обоснованное. Чем дольше они встречались, тем больше невольного уважения вызывал этот парень у Цкуру. Хотя чем привлекал Хайду он сам – этого Цкуру понять не мог. Но как бы там ни было, болтали они всегда увлеченно и подолгу, о чем бы ни заходила речь.

И все-таки, оставаясь один, Цкуру подумывал о том, чтобы обзавестись подругой. Обнимать ее, нежно гладить где захочется, вдыхать аромат ее кожи. Для молодого здорового мужчины – желание нормальное. Но всякий раз, когда он начинал думать о женщинах, когда хотелось кого-нибудь обнять, в подсознание почему-то сразу являлись Белая с Черной. Неразлучная парочка – они занимали собой весь мир его фантазий. И это его повергало в тяжкую, неопишемую депрессию. Почему они никак не оставят

его в покое? Обе ведь ясно дали понять: видеть тебя не желаем и ни о чем говорить с тобой не хотим. Почему же тогда они молча не сгинут из его сердца? В свои двадцать лет Цкуру еще ни с кем не переспал. Целовался-то всего пару раз и пока еще никого не выманил на свидание.

Иногда он думал, что, возможно, какой-то системный изъян таится в нем самом. Некий психологический барьер мешает естественному ходу его жизни. Связано ли это с отречением четырех ближайших друзей или же проблема не в том, а просто вот такой уж он с рождения, Цкуру толком не понимал.

Однажды субботним вечером Цкуру с Хайдой засиделись допоздна и вдруг заговорили о смерти. О том, что любому человеку когда-нибудь придется умереть. И что каждый вынужден жить с предчувствием своей кончины. Оба рассуждали об этих вещах скорее умозрительно. Цкуру хотел было рассказать Хайде, как он зависал на границе жизни и смерти, как серьезно после этого изменился – и душой, и телом. И какие странные видения посещали его в те дни. Но тогда пришлось бы рассказывать и о том, почему так случилось, всю историю от начала и до конца. А потому он просто молчал, слушая рассуждения Хайды.

Ближе к полуночи разговор иссяк, и в квартире стало тихо. Обычно в таких случаях они ложились спать: оба – жаворонки, любили вставать с рассветом. Однако на этот раз Хайда долго сидел по-турецки на диване в глубокой задумчивости. А затем как-то неуверенно произнес:

– Насчет смерти... вспоминаю одну историю. Мне отец рассказывал. О том, что он якобы пережил, когда ему исполнилось двадцать. Примерно сколько мне сейчас. Излагал он ее часто, так что я запомнил во всех подробностях. История очень странная, поверить в нее трудно. Но отец мой – не из тех, кто стал бы врать о таком, да и небылиц сочинять никогда не умел. Сам знаешь, если человек повторяет какую-то небылицу, он постоянно, от рассказа к рассказу, что-нибудь в ней меняет. То финал прикрутит другой, то забудет,

с чего в прошлый раз начинал... Но эта отцовская история не менялась никогда вплоть до мельчайших деталей. Так что, возможно, он и правда все это пережил. Мне как сыну только и остается в это верить. А ты, не зная моего папашу, можешь и не верить, решай сам. Тогда просто знай, что такая история существует. Можешь воспринимать ее как народное творчество или страшилку. Вообще-то она длинная, а уже поздно... Рассказывать?

– Конечно, давай, – ответил Цкуру. – Я пока спать не хочу.

5

– В молодости отец бродяжничал, – начал Хайда. – Примерно с год, в конце шестидесятых. Эпоха студенческих бунтов и контркультуры. Подробно я не расспрашивал, но в Токийском универе он насмотрелся на столько безобразий и нелепостей, что разочаровался в политике и вышел из студенческого ополчения. Взял академический отпуск и отправился один по Японии куда глаза глядят. Вкалывал разнорабочим где придется, а в свободное время читал книги и встречался с разными людьми. Как сам не раз говорил, тот год, пожалуй, был самым счастливым в его жизни. И очень многому научил его. Все мое детство он рассказывал о тех днях его странствий. Точно старый солдат, вспоминая эпизоды давней войны в далеком краю. Побродяжничав с год, он вернулся в универ, занялся тихомирно своей наукой. И с тех пор больше никогда не путешествовал. Только ездил из дома на работу и обратно. Вот ведь странная штука, да? В любой даже самой размеренной жизни когда-нибудь наступает кризис. Пора сходить с ума, так сказать. Похоже, людям это просто необходимо...

* * *

В ту зиму отец Хайды подрабатывал в одном из горных онсэнов[14 - Онсэ?н (яп.) – курорт гостиничного типа на горячих источниках с традиционными интерьером, сервисом и едой. Популярная разновидность внутреннего японского туризма.] на юге страны, в префектуре О

ита. Местечко ему так понравилось, что он решил задержаться там подольше. Делай, что скажут, в течение дня, а вечером занимайся, чем хочешь. Платят немного, зато кормят три раза в день, дают крышу над головой и позволяют мокнуть в горячих источниках сколько хочешь. После работы, валяясь на татами в своей комнатухе, он прочел уйму книг. Несмотря на его замкнутость, окружающие уважали «господина студента из Токио» и относились к нему душевно. Еда была там очень простой, но всегда свежей. А главное – более затерянной глухомани, чем тот онсэн, даже представить трудно. Телефонная связь вечно барахлила, телевизоры не показывали, газеты доставлялись с опозданием на сутки. Ближайшая остановка автобуса – в трех километрах ниже по склону, откуда до самого источника можно с трудом добраться лишь на обшарпанном гостиничном джипе. Даже электричество провели совсем недавно.

Прямо перед гостиницей протекала красивая горная речка Таникава, в которой сновала крупная разноцветная рыба. Над водой, весело галдя, порхали птицы, а к берегу то и дело приходили то лисы, то обезьяны. Горы кормили всех. В этом оторванном от всего света мирке молодой Хайда читал и размышлял о чем только душа пожелает. Реальный суетный мир не представлял для него ни малейшего интереса.

Прожив так пару месяцев, он разговорился с одним постояльцем. Мужчина лет сорока пяти, долговязый, короткие волосы, высокий лоб. Очки в позолоченной оправе, череп похож на яйцо. С большой виниловой сумкой через плечо, он сам поднялся по горной дороге, поселился в гостинице и до встречи с Хайдой жил там уже с неделю. Наружу выходил всегда в одних и тех же кожаной куртке, синих джинсах и тяжелых рабочих ботинках. А в холодные дни надевал шерстяную шапочку и повязывал шею темно-синим шарфом. Звали его Мидорикава[15 - Мидо?ри-ка?ва (яп.) – зеленая

река.]. По крайней мере, именно такую фамилию (а также адрес в городишке Коганэи под Токио) он оставил на бланке при заселении. Держался очень педантично – каждое утро оплачивал наличными свой номер за прошедшие сутки.

(«Мидорикава? Опять «цветное» имя?» – подумал Цкуру. Но ничего не сказал и слушал дальше.)

Чем Мидорикава занимался в жизни, понять было сложно: почти все время он просиживал в ротэ?мбуро[16 - Ротэ?мбуро (яп.) – водоемы или просторные сидячие ванны на горячих источниках. Обычно устраиваются под открытым небом, в данном случае – на отгороженном участке берега реки.]. Или уходил гулять в горы, после чего грелся за ката?цу[17 - Ката?цу (яп.) – традиционный низкий стол со встроенным обогревателем. Как правило, рассчитан на несколько человек, которые греются, спрятав под него ноги. Чтобы тепло не уходило, снабжен толстым одеялом от краев столешницы до татами.] и читал один за другим привезенные с собой покетбуки (в основном какие-то бульварные романы), а вечером выпивал две бутылочки горячего саке. Ровно две, ни больше ни меньше. Как и отец Хайды, без особой надобности рта не раскрывал, хотя персонал гостиницы это ничуть не раздражало. К подобным клиентам они давно привыкли. В эту горную глушь вечно приезжали люди с какими-нибудь странностями, а если еще и останавливались надолго, эти странности только усиливались.

Иногда, перед самым рассветом, Хайда приходил окунуться в ротэмбуро на берег реки. Там-то он и познакомился с Мидорикавой, который всякий раз приветствовал его короткими междометиями. Видимо, чем-то парнишка-разнорабочий заинтересовал незнакомца. Может, тем, что в свободное время сидел на крыльце и читал Жоржа Батая? Кто знает.

Мидорикава оказался джазовым пианистом из Токио. По его словам, устав от личных неурядиц, а также от ежедневных концертов и репетиций, он решил отдохнуть в каком-нибудь тихом месте – и добрался досюда. Точнее, сначала он просто ехал куда глаза глядят, а в этом онсэнэ оказался случайно. И сразу же оценил, насколько здесь все просто и аскетично – никаких излишеств.

– Ты ведь, кажется, тоже из Токио? – уточнил он.

Греясь в ротэмбуро в лучах рассвета, Хайда вкратце описал, что его сюда привело. Взял в универе академ, отправился путешествовать без особой цели. Все равно вуз на время парализован, и торчать в Токио смысла нет.

– И тебе неинтересно, что сейчас творится в Токио? – удивился Мидорикава. – Такое зрелище! Каждый день какие-то бунты, скандалы, демонстрации. Весь белый свет сошел с ума. Неужели тебе не жаль все это пропустить?

– Белый свет так просто с ума не сходит, – ответил Хайда. – А вот отдельные люди с катушек слетают. Но мне совершенно не жаль, если я этого не увижу.

Столь резкий ответ, похоже, Мидорикаве понравился.

– А ты случайно не знаешь, – спросил он, – можно ли где-нибудь здесь поиграть на пианино?

– Если перейти через вон ту гору, есть сельская школа, – ответил Хайда. – Может, разрешат поиграть после уроков в музыкальном классе.

Мидорикава очень обрадовался.

– Послушай, а ты не мог бы меня туда сводить? – тут же попросил он.

Хайда сообщил об этой просьбе хозяину гостиницы.

– Своди, конечно, – согласился тот. И, позвонив директору школы, договорился, чтобы Мидорикаве разрешили поиграть на пианино.

И вот после обеда они отправились к сельской школе. Только что прошел дождь, горная тропинка блестела и скользила от влаги, но Мидорикава с сумкой через плечо шагал твердо и быстро. Хотя выглядел он типичным горожанином, ноги у него были крепкие.

У старенького пианино в музыкальном классе западали некоторые клавиши, да и настроили его неидеально, но в целом оно звучало терпимо. Пианист сел на скрипящий стул, вскинул руки, пробежал пальцами по восьмидесяти восьми клавишам слева направо – и взял на пробу несколько интервалов: квинта, септима, нона, ундецима... Не похоже, чтобы ему понравился звук, но само прикосновение к клавишам явно доставляло удовольствие. Легкость, сила и уверенность этих пальцев словно подсказали Хайде: а ведь это и правда какой-то очень хороший и знаменитый пианист.

Закончив проверять инструмент, Мидорикава достал из сумки и осторожно положил на пианино перед собой какой-то мешочек – из добротной ткани, горловина туго стянута шнурком. «Может, чей-то прах? – подумал Хайда. – И он всегда кладет его на инструмент перед игрой?» По крайней мере, именно так это выглядело со стороны.

А потом пианист заиграл «Round Midnight»[18 - «Около полуночи» (англ.)]. Поначалу осторожно, будто ступая в воды Таникавы – и с каждым шагом забредая все глубже. Отыграл главную тему, перешел к долгой импровизации. С каждой минутой его пальцы, как рыбы, выпущенные в воду снова, двигались все быстрее. Левая рука задавала ритм для правой, а правая словно провоцировала левую. И хотя в джазе Хайда никогда особо не разбирался, эту вещь Телониуса Монка слышал уже не раз и поэтому смог оценить, насколько виртуозно играл Мидорикава. Таилась в его исполнении такая глубина, что хотелось возненавидеть все несовершенство инструмента, на котором это играли. Здесь, в кабинете затерянной в горах сельской школы, эта музыка, игравшаяся для единственного слушателя, словно смывала всю грязь, накопленную в душе. Искренность этих звуков гармонировала с чистейшим воздухом и течением прозрачных студеных вод

Таникавы. Сам же пианист так увлекся, что полностью отключился от реальности. Никогда в жизни Хайда не видел, чтобы человек настолько глубоко погружался в себя. Он все смотрел на эти пальцы, словно бы жившие своей жизнью, отдельно от самого музыканта, и никак не мог оторваться.

Минут через пятнадцать Мидорикава закончил игру, достал из сумки толстое полотенце, тщательно вытер с лица испарину. И, закрыв глаза, молча просидел без движения чуть не с минуту.

– Ну вот, пожалуй, и хватит, – вымолвил он наконец. – Пойдем назад?

Протянув руку, он снял с пианино загадочный мешочек и так же бережно спрятал обратно в сумку.

– А что это за мешочек? – спросил Хайда.

– Оберег, – просто ответил музыкант.

– Что-то вроде духа пианино?

– Да нет, скорее, мое второе я, – устало улыбнулся Мидорикава. – Но это долгая история. А я сейчас слишком устал, как следует ее не расскажу...

* * *

На этом Хайда прервался, скользнул взглядом по часам на стене и посмотрел на Цкуру. Разумеется, перед Цкуру сейчас сидел Хайда-сын – но того же возраста, что и Хайда-отец из рассказа. Видимо, еще и поэтому образы отца и сына в сознании Цкуру очень естественно перемешались. Ощущать это было очень странно – словно два разных времени наслоились одно

на другое. Так, может, вся эта история случилась с сыном, а не с отцом? По крайней мере, Цкуру на минутку вдруг так почудилось.

– Ну вот, совсем поздно уже, – заметил Хайда. – Если ты совсем сонный, может, я потом дорасскажу?

– Все в порядке, пока не сонный, – ответил Цкуру. И в самом деле: всякую сонливость у него как рукой сняло. И ему действительно хотелось дослушать, чем все закончилось.

– Ну, тогда слушай дальше, – сказал Хайда. – Я пока тоже бодрый.

* * *

То был первый и последний раз, когда Мидорикава играл перед Хайдой. Исполнив в школьном кабинете пятнадцатиминутную «Round Midnight», он, казалось, начисто потерял интерес к пианино. В ответ на все намеки Хайды – дескать, не желаете ли еще поиграть? – лишь молча качал головой. И Хайда наконец понял: Мидорикава действительно больше играть не собирается, как бы сильно Хайде этого ни хотелось.

У Мидорикавы действительно был очень мощный талант. Никаких сомнений. Его музыка воздействовала на слушателя физиологически. Если ее слушать внимательно, начинает казаться, будто тебя переносит в какое-то совершенно другое место. Очень редкое и необычное ощущение.

Что подобное качество значило для самого Мидорикавы, Хайда не понимал. Счастье это для него – или тяжкое бремя? Благословение – или проклятье? Или даже все это сразу? Так или иначе, особенно счастливым человеком Мидорикава не выглядел. Лицо его обычно выражало нечто среднее между унынием и безразличием. А за ироничной улыбкой, иногда мелькавшей на губах, будто скрывалось некое тайное знание.

Однажды Мидорикава окликнул Хайду, когда тот колол дрова на заднем дворе гостиницы.

– Ты sake пьешь? – спросил он.

– Если немного, – ответил Хайда.

– Можно и немного, – кивнул музыкант. – Составишь мне компанию сегодня вечером? Надоело выпивать в одиночку.

– Вечером у меня работа, освобожусь только в полвосьмого.

– Вот и хорошо. Заходи ко мне в номер.

В половине восьмого Хайда зашел к Мидорикаве. В номере их уже ждал заказанный ужин на двоих и горячее sake. Они сели лицом к лицу, выпили, поели. К еде Мидорикава почти не притрагивался, зато пил за двоих. Ничего не рассказывая о себе, он расспрашивал Хайду: где тот родился (в Аките), о Токийском университете, о том о сем. Когда же узнал, что перед ним студент философского факультета, задал несколько вопросов «по специальности». О мировоззрении Гегеля. О трудах Платона. В общем, стало ясно, что он регулярно читает и такие книги, не только бульварные романы.

– Так, значит, ты веришь в логику? – уточнил он.

– Да, – кивнул Хайда. – И верю, и применяю как инструмент. Чему, собственно, и учит философия.

– А все алогичное, значит, не любишь?

– Дело не в любви или нелюбви. То, что логике не подчиняется, из головы все равно не выкинешь. Я вовсе не делаю из логики культа. Но считаю важным умение находить, где и как логичное пересекается с алогичным.

– А вот, скажем, в дьявола ты веришь?

– Это какого? Который с рогами?

– Ну да. Хотя есть ли у него рога на самом деле, даже не знаю...

– Если говорить о дьяволе как об аллегории Зла – конечно, поверить могу.

– А в дьявола как физическое воплощение этой аллегории Зла?

– Насчет этого – не пойму, пока сам не увижу.

– Когда увидишь – возможно, уже будет поздно...

– Но мы-то сейчас говорим о гипотезе. Чтобы ее развивать, нужны примеры поконкретней. Как любому мосту – опорные сваи. Как и всякая выдумка, любая гипотеза чем длинней, тем абстрактней, и из нее труднее делать какие-то умозаключения.

– Конкретные примеры, говоришь? – повторил Мидорикава, отхлебнул sake и нахмурился. – Если такой конкретный пример является тебе, все эти вопросы – верить или нет, принимать или нет – могут перемешаться так, что

между ними не останется никакой разницы. Твое сознание совершает скачок. И логика уже не срабатывает.

– Да, в такие моменты логика, возможно, бессильна. Но ведь логика – не инструкция к кофеварке. Разве нельзя будет мыслить логично и дальше?

– Дальше может быть уже поздно.

– Поздно или нет – это к логике отношения не имеет.

Мидорикава улыбнулся.

– Тут ты прав! Даже если поймешь, что логику применять уже поздно, к логике это отношения не имеет. Замечательный аргумент! Нечего и возразить...

– Господин Мидорикава, а с вами такое случалось? Ну, чтобы вы что-нибудь восприняли, во что-то поверили так, что вас выкинуло за рамки логики?

– Нет, – покачал головой пианист. – Я ни во что не верю. Ни в логичное, ни в алогичное. Ни в бога, ни в дьявола. Гипотез я не строю, ни за какие рамки не вылетаю – лишь принимаю все происходящее как оно есть. И в этом моя основная загвоздка. Не могу выстраивать стены, отделяющие субъекты от объектов.

– Но у вас же такой музыкальный талант...

– Ты так считаешь?

– В вашей музыке, несомненно, есть сила, которая двигает души людей. Сам я в джазе не разбираюсь, но почувствовать это могу.

Мидорикава устало покачал головой.

– Ну да, иногда талант – действительно приятная вещь. Всеобщее признание, обожание, а повезет – так еще и разбогатеешь. От женщин отбоя нет. Это все хорошо, кто же спорит. Но талант, дружище, – это предельное напряжение как тела, так и ума, только в этом случае он и пригождается. Разболтается какой-нибудь винтик в мозгу или порвется какая-то ниточка в теле – и весь твой талант растает, как предрассветный туман. И вот ты уже не можешь достойно играть на пианино, потому что у тебя зуб мудрости болит или плечо затекло. Я не шучу, со мной так бывало. От простой дырки в зубе или затекшего плеча все твоё прекрасное видение этого мира летит к чертям. Все-таки человеческое тело очень хрупко. Такая сложная система – а теряет силы из-за всякой ерунды. И после потери уже редко восстанавливается. От зубной боли, от затекших плеч вылечить еще можно. Но сколько еще того, от чего не исцелиться никак? Какой же смысл быть талантливым, если твой талант в любую секунду вытворяет что ему вздумается и на него совершенно невозможно положиться?

– Пожалуй, и правда, талант – штука эфемерная, – задумчиво сказал Хайда. – И, наверное, немного найдется людей, которые в жизни только на него и рассчитывают. Но все-таки та энергия, что из него рождается, тоже позволяет сделать огромный, как вы говорите, ментальный скачок. И это – самостоятельный феномен, превосходящий рамки отдельной личности.

– Моцарт и Шуберт умерли молодыми, но их музыка вечна. Ты об этом?

– В том числе.

– Гении такого масштаба – все-таки исключение. В большинстве случаев талантливые люди быстро истачивают свои судьбы и принимают смерть молодыми, расплачиваясь таким образом за свой талант. Это сделка,

в которой продают жизнь. С богом или с дьяволом – уж не знаю... – Мидорикава вздохнул и, выдержав паузу, добавил: – Но это отдельный разговор. А если говорить конкретно, сам я скоро умру. Мне остался всего месяц.

Услышав это, Хайда лишился дара речи. Что тут сказать, он понятия не имел.

– Это не связано с болезнью, – уточнил пианист. – Здоровье пока в порядке. И накладывать на себя руки я не собираюсь. Если тебя это волнует, можешь расслабиться.

– Но с чего вы взяли, будто вам остался лишь месяц?

– Так сказал один человек. Мол, жить мне – еще два месяца. Теперь уже – один.

– И кто же это вам сказал?

– Не врач, не прорицатель. Самый обычный человек. Просто в ту минуту он тоже умирал.

Хайда прокрутил в голове услышанное, но ничего логичного в голову не пришло.

– Так вы, что же, умирать сюда приехали?

– Если коротко – в общем, да.

– Я не совсем понимаю... И что, вашей кончины никак не избежать?

– Можно только одним способом, – ответил Мидорикава. – Если я передам так называемую эстафету смерти кому-нибудь другому. Или, проще говоря, найду человека, который согласится умереть вместо меня. Тогда я скажу ему что-нибудь вроде «ну, давай, старина» и какое-то время еще проживу на свете. Да только я и сам не хочу выбирать такой способ – я давно хотел умереть. Может, именно это мне сейчас и нужно...

– И что же, вот так возьмете и умрете?

– Ну да. Слишком уж невыносимо жить, скажу тебе честно. И если умру просто так, будет вовсе не плохо. Специально придумывать, как оборвать свою жизнь, мне уже не по силам. Но молча принять смерть я смогу.

– Но как конкретно эта... эстафета смерти передается другому человеку?

Мидорикава равнодушно пожал плечами.

– Да очень просто. Если кто-нибудь тебя выслушает, поймет, осознает твою ситуацию и согласится принять – эстафета переходит к нему. Вот и все. Можно и вслух произнести. Руку ему пожал – и дело сделано. Ни подписей, ни печатей, никаких контрактов. Все-таки не торговая сделка.

Хайда озадаченно покрутил головой.

– Непросто, видимо, найти человека, который согласится принять на себя чью-то смерть?

– Да, в этом главная сложность, – кивнул Мидорикава. – Кто же из нормальных людей станет реагировать всерьез, если его попросят: «Извините, вы случайно за меня не помрете?» Разумеется, собеседника нужно выбирать очень тщательно. И вот тут-то разговор пойдет позаковыристей...

Пианист медленно огляделся, откашлялся. И продолжал:

– Знаешь ли ты о том, что у каждого человека существует свой цвет?

– Нет, не знаю.

– Ну, тогда слушай. У каждого человека есть определенный цвет, такое сияние вокруг тела. Примерно как подсветка у автомобиля. Так вот, я это сияние видеть могу.

Он подлил себе в чашечку sake и медленно, с явным удовольствием выпил.

– Способность видеть, кто какого цвета? Это что-то врожденное? – с сомнением спросил Хайда.

Мидорикава покачал головой.

– Нет, не врожденное. Скорее, нечто вроде переходящего статуса. Который получают те, кто согласился принять на себя чужую смерть. Так он и переходит от одного человека к другому. Сейчас им наделен я.

Хайда промолчал. Что на это сказать, он понятия не имел.

– Человеческие цвета бывают приятными и отталкивающими. Веселыми и грустными. Одни погуще, другие пожиже. От всего этого сильно устаешь, потому что видишь их, даже когда не хочешь. Я не хочу больше находиться среди людей. Потому и приехал в горы.

И тут Хайду осенило.

– Значит... у меня тоже есть цвет, и вы его видите?

– Да, конечно, – кивнул Мидорикава, – отлично вижу. Хотя что это за цвет, говорить тебе не стану. Но главное – я могу передать этот жребий только человеку определенного цвета и определенного типа сияния. К кому попало он перейти не может.

– И много таких людей на свете? Такого цвета и такого сияния?

– Нет, совсем немного. Из того, что я видел, такие люди встречаются примерно один на тысячу, если не на две. Отыскать их трудно, однако можно. Куда сложнее найти место и время для того, чтобы оказаться с ним лицом к лицу так, чтобы он внимательно тебя выслушал. Ты даже не представляешь, как это непросто.

– Но что это за люди, которые соглашаются принять чужую смерть на себя?

Пианист улыбнулся.

– Что за люди? Да я и сам не понимаю. Знаю только, что у них такое-то сияние такого-то цвета, вот и все. Чисто внешние признаки. Но, раз уж мы об этом говорили, думаю, все они – люди, которые не боятся Скачка. Каждый по своей причине.

– Не боятся – это ладно. Зачем вообще совершать этот Скачок?

Мидорикава выдержал паузу. В наступившей тишине журчанье реки за окном словно бы стало громче. И вдруг он усмехнулся.

– Хочешь узнать, в чем интрига?

– Рассказывайте, – попросил Хайда.

Мидорикава вздохнул.

– В миг, когда ты соглашаешься принять чужую смерть на себя, ты наделяешься особыми свойствами. Можно сказать, у тебя появляется дар. Различать людей по цветам – лишь побочное свойство. Главное – в том, что ты получаешь возможность резко расширить границы сознания. Ну вот как раскрываются «двери восприятия» у Олдоса Хаксли. Твое сознание становится абсолютно чистым, без примесей. Все туманы рассеиваются, все становится ясным. И твоему взору предстают невидимые для обычных людей картины.

– А ваша способность играть, как тогда, в школе – той же природы?

Мидорикава покачал головой.

– Нет, на фортепьяно я играю сам. Не зря ведь занимаюсь этим уже столько лет. А восприятие существует самостоятельно и никак особо не проявляется. Его нельзя использовать для собственной выгоды. Что это такое – словами не объяснить. Можно лишь испытать на себе. Одно могу сказать: если тебе хоть раз откроются границы истинной реальности, мир, в котором ты родился и жил до этих пор, покажется тебе пугающе плоским, никчемным. В тех границах нет ни логичного, ни алогичного. Ни Добра, ни Зла. Там все сливается в единое целое. И ты становишься частью этого целого. Просто выходишь из своей телесной оболочки и начинаешь существовать, так сказать, метафизически. Превращаешься в одну сплошную интуицию. Великолепное ощущение, хоть и очень горькое. Ибо нет ничего печальнее, чем в последний момент осознать, что вся прожитая тобою жизнь была так безрадостна и неглубока. И душа твоя содрогается, не понимая, как ты мог выносить подобную жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/haruki-murakami/bescvetnyy-ckuru-tadzaki-i-gody-ego-stranstviy/>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

Му (кит., яп.) – буддистская категория полного отрицания. Состояние Му – сознание, очищенное от идей внешнего мира. Чревато просветлением (сатори) и переходом в Нирвану. В практиках дзен-буддийских монахов часто трактуется как «забери свой вопрос назад». – Здесь и далее прим. переводчика.

2

Школьная система в Японии состоит из начальной, средней и старшей школ (6 лет, 3 и 3 года соответственно). Начальная и средняя школа – обязательные. Старшую школу, хотя она обязательной и не является, оканчивают около 94 % японских школьников. Учебный год начинается в апреле.

3

Начиная с 1990-х гг. так называемый средний класс составляет около 80 % японского общества.

4

Буквальные значения иероглифов: Ака-ма?цу – «красная сосна», О-у?ми (или Ао-у?ми) – «синее море», Сира-нэ? – «белый корень», Куро?-но – «черная пустошь» (яп.). Фамилию Та-дза?ки можно перевести как «скопление утесов» (яп.). Имя Ц(у)ку?ру – фонетический омоним глагола «делать, создавать, производить».

5

«Синкансэ?н» (новая магистраль, яп.) – высокоскоростная сеть железных дорог в Японии для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании «Japan Railways (JR)».

6

Канто? (букв. «регион на восток от заставы», яп.) – регион острова Хонсю, самая высокоразвитая и урбанизированная часть Японии, в которой

расположены крупнейшие мегаполисы страны – Токио, Иокогама, Сайтама, Тиба и др.

7

Chemistry (англ.) – химия.

8

От г. Нагоя до крупнейшего японского озера Бива – около 100 км.

9

Ха?й-да (букв., яп.) – «серое поле».

Но (яп. мастерство, умение, талант) – японское театральное драматическое искусство с более чем шестивековой историей. Сцену театра венчает крыша, под которой выступает актерский ансамбль в сопровождении музыки с песнопениями. В современный репертуар не входят около 250 пьес. Бунра?ку (букв. развлечение историями) – традиционная форма японского кукольного театра в сочетании с народным песенным сказом дзёрури. Пьесы исполняют под аккомпанемент сямисэна. Зарождение жанра относится к концу XVI – началу XVII в.

Кана? – слоговая азбука, одна из составляющих японской письменности наряду с китайскими иероглифами. В отличие от иероглифов, которыми изображают корневые значения слов, буквы каны показывают только то, как слова звучат. Современная кана состоит из 100 знаков и разделяется на хира?гану и ката?кану (для записи японских или иностранных слов соответственно).

То?си-о (яп.) – распространенное мужское имя, букв. – «ценный, выгодный». Иероглифы «Тосио Тадзаки» ассоциируются с «выгодным мужчиной со множеством разных утесов (достоинств)».

13

В японском языке нет звука «л», и большинство японцев инстинктивно заменяет его на «р».

14

Онсэ?н (яп.) – курорт гостиничного типа на горячих источниках с традиционными интерьером, сервисом и едой. Популярная разновидность внутреннего японского туризма.

15

Мидо?ри-ка?ва (яп.) – зеленая река.

16

Ротэ?мбуро (яп.) – водоемы или просторные сидячие ванны на горячих источниках. Обычно устраиваются под открытым небом, в данном случае – на отгороженном участке берега реки.

17

Кота?цу (яп.) – традиционный низкий стол со встроенным обогревателем. Как правило, рассчитан на несколько человек, которые греются, спрятав под него ноги. Чтобы тепло не уходило, снабжен толстым одеялом от краев столешницы до татами.

18

«Около полуночи» (англ.).